



**Анатолий
САЛУЦКИЙ**

**ОТ ВОЙНЫ
ДО ВОЙНЫ**

**Потаённые
смыслы эпохи**

Роман

Анатолий Салуцкий

**От войны до войны.
Потаённые смыслы эпохи**

«ВЕЧЕ»

2026

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

Салуцкий А. С.

От войны до войны. Потаённые смыслы эпохи / А. С. Салуцкий —
«ВЕЧЕ», 2026

ISBN 978-5-4484-6001-2

Роман Анатолия Салуцкого «От войны до войны. Потаённые смыслы эпохи» повествует об историческом движении нашей страны от Победы 1945-го к СВО в 2022-м, о разрушении СССР и начале возрождения новой России. Роман не просто вместил в себя знаковые события недавнего прошлого, но и раскрывает их потаённую подоплёку, в том числе измену партийной верхушки КПСС и прозападной интеллектуальной элиты. По сюжету главные герои романа пересекаются со многими знаменитыми историческими личностями, включая ныне здравствующих, которых автор называет поимённо, что обязывает его к абсолютной достоверности в описании неизвестных читателю эпизодов. Роман «От войны до войны» – это роман смыслов, позволяющий взглянуть на российские перипетии и недоразумения по-новому – не через привычную идейно-политическую оптику, а сквозь призму вековой русской этнокультурной истории.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-6001-2

© Салуцкий А. С., 2026
© ВЕЧЕ, 2026

Содержание

От автора	6
Часть первая	7
1	7
2	9
3	17
4	25
5	28
6	32
7	37
8	42
9	46
10	53
11	58
12	62
13	65
14	71
15	77
16	85
17	91
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Анатолий Салуцкий
От войны до войны.
Потаённые смыслы эпохи

© Салуцкий А.С., 2026

© ООО «Издательство «Вече», 2026

* * *

Моей боевой подруге и неразлучной казачке Люське

От автора

«От войны до войны» – роман о судьбах советской и российской интеллектуальной элиты в период между Великой Отечественной и СВО. Тема совсем новая и требует краткого пояснения.

В России интеллектуальная элита была и остаётся неоднородной. Есть русская элита – в это понятие я вкладываю не национальный смысл, а предназначение жить святым беспокойством о благоденствии России. К ней я отношу моего дорогого друга – незабвенного Савву Ямщикова, Валентина Распутина, Юрия Бондарева и многих других – ясно, о ком речь. В советские годы эта элита не была привлечена к решению судьбоносных проблем страны, её роль заключалась в сбережении духовных традиций многонациональной России, в сохранении её исторических начал, что и позволило сегодня провозгласить: «Россия – самобытное государство-цивилизация».

И есть другая часть интеллектуальной элиты, которую вернее всего назвать прозападной и которая сыграла огромную роль в событиях, определивших исторический путь страны в XX и начале XXI века.

Я давно подбирался к этой теме, ещё в романе «Немой набат» вернув из забвения «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова, который пророчески писал об идейной эрозии общества. Но когда полез в суть той эпохи глубже, открылось, что интеллектуальная прослойка, означенная Кочетовым, не ограничилась идеологической диверсией, а нанесла сокрушительный удар по экономике, опрокинув страну в застой. И более того, катастрофа СССР не изменила «основанную на правилах» роль глубинного государства, корневой системой которого после Сталина стала прозападная элитарная интеллигенция, – начиная с «шестидесятников». И в 90-е история повторилась: та же прослойка, подчас поимённо, не позволила обустроить в России цивилизованный рынок, снова сокрушив экономику – вопреки советам и предостережениям лауреата Нобелевской премии по экономике русского американца Василия Леонтьева, которого в США окрестили «апостолом планирования». Наряду со многими широко известными историческими фигурами человек драматической судьбы Леонтьев – тоже персонаж романа.

В романе почти нет политики как таковой – он об историческом пути России. Но я рассматриваю этот путь не под привычным ракурсом идейной борьбы красных и белых, который вбил в наше сознание Краткий курс истории ВКП(б), а сквозь призму трёхсотлетней русской этнокультурной истории. Она позволяет иначе оценивать и некоторые узловые события XX века, и текущую культурную разногласию периода СВО. Чтобы заинтриговать читателя, приведу пример: у историков, изучающих этнокультурные проблемы, немало аргументов считать, что репрессии 1937 года на самом деле были второй Гражданской войной.

Эта совершенно новая, особо интересная тема проходит через судьбы героев романа, через его контекст и подтекст.

Часть первая

Элита: Измена в тылу

1

Свадьба!

«Однако же, велик и могуч русский язык», – подумал Кондрат Егорович Кедров. Эта посторонняя для текущей минуты мысль заставила его мысленно усмехнуться. Прогулочным шагом, заложив руки за спину, он совершал дежурный моцион по маршруту № 4 санатория «Барвиха» и, как обычно, обдумывал маячившие на жизненной стезе проблемы. По давней привычке восклицанием «Свадьба!» он иносказательно завершал удачные договорённости, в его восприятии это слово вмещало в себя необъятную гамму эмоций и потаённых смыслов.

Но на сей раз речь шла о настоящей свадьбе: Дмитрий женится.

Впрочем, первую и главную проблему, связанную со свадьбой, Кондрат Егорович уже закрыл. Сперва думал переговорить с Воротничким из КГБ, но потом решил, что ребята с Лубянки не глянут глубже анкетных данных, и позвонил Промыслову, по старой дружбе попросил навести глубокие – глубокие! – справки относительно Василия Ильича Губина, работающего в системе Моссовета, – что за личность? Что за семья?

Владимир Фёдорович знает, о чём доискиваться, когда вопрос идёт о том, чтобы через невестку породниться семьями, зубр опытный. Через неделю отзвонил, пошутил о всесторонних изысканиях и дал «добро». Губины – род достойный, Василий Ильич при Сталине был замом министра. Потом, правда, по обстоятельствам времени ушёл в тень, однако в аппарате Моссовета не последняя сошка. В общем, наш брат, свой.

Теперь в голове крутилась вторая, второстепенная проблема: в каком ресторане справить свадьбу? Подул коварный осенний ветерок, и Кондрат Егорович застегнул пальто на верхнюю пуговицу. Дмитрий предлагает «Центральный», где булочная Филипповская, или «Арагви». Но вопрос не такой простой, как думает сын. Начинать надо не с выбора ресторана, а с того, на что замахнёмся, кого из солидных людей пригласить. Свадьба сына – как юбилей, тоже повод собрать старых знакомых, всем показать, что ты в порядке, что породнился удачно, а значит, оброс новыми связями.

Вспомнил 60-летний юбилей Воротничкого в ресторане «Мир», считай, рядом с американским посольством. Зал большой, десять круглых столов на восемь персон, удобно. О-о! Там смешно было. Воротничкий пригласил Мазо, известного профессора, который его от простатита лечит. Ну, Мазо и выдал тост: «Я тоже с органами работаю». Кстати, надо с этим Мазо познакомиться, мало ли...

Но свадьба на восемьдесят человек – это, пожалуй, чересчур. Хотя в основном-то будет молодёжь. Ну как молодёжь? Дмитрию под тридцать, мужик самостоятельный, кандидат наук. В памяти мелькнул ресторан «Мир»: половину зала можно отвести под оркестр и танцы, для старшего поколения – два почётных стола. Да, свадьба примерно на сорок гостей будет, пожалуй, в самый раз. А ещё... Попросить Промыслова, чтобы на полчасика заскочил, Председатель Моссовета уровень свадьбы поднимет. Хорошо бы и генерал Язов заглянул. Он Среднеазиатским округом командует, но в Москву прилетает часто и обязательно звонит. Свой человек в армии.

Ну, вот как-то так. Вопрос начинает проясняться...

Кондрат Егорович завершил дежурный моцион, вернувшись к главному корпусу. На заднем лифте поднялся на четвёртый этаж, в двухкомнатный люкс, где всегда поселялись они

с женой и где при заезде Кедрова подключали «вертушку». Но сейчас Зинаида не приехала, сам-то он едва вырвался на несколько праздничных дней. Зайдя в просторную прихожую, скинул пальто и принялся было расшнуровывать полуботинки, но услышал трель «вертушки». В уличной обуви быстро шагнул в комнату, взял трубку. Звонил Никитенко, помощник.

– Кондрат Егорович... Леонид Ильич...

Кедров сразу всё понял, рявкнул в трубку:

– Машину!

2

В ночь на 11 ноября 1982 года по центру Москвы без охранного сопровождения, без мигалок, словно тайком, металась чёрная ЗИЛы, в просторечье именуемые членовозами. Иногда по две-три машины скапливались у зданий, где светились окна служебных апартаментов кого-либо из венценосной партийной верхушки. Но вскоре лимузины снова разлетались по пустынным московским улицам, на которых вдруг появились редкие военные патрули, и увозили пассажиров по другим особым адресам.

Долгое 18-летнее правление Брежнева завершилось. Началась новая драка за власть.

Разумеется, озаботились своим завтрашним днём не только члены высшего, неподсудного ареопага, но и те, кто сновал у подножия верховной власти, кто входил в элиту. В те дремучие, застойные брежневские времена элита формировалась исключительно из людей государевых, из номенклатуры, из тех, чьи должности, прежде всего чиновничьи, считались начальственными. Понятно, в элите числились академики и, само собой, культурные знаменитости, но всех их отличали знатные легальные заработки, позволявшие жить на широкую ногу, – в пределах советского шикарного стиля. Подпольным миллионерам вход в элиту был категорически воспрещён, денежных тузов не впускали в круг избранных. Им разрешалось лишь кутить в ресторанах, по благу и с переплатой покупать «Волги», «убивать» друг друга импортными мебельными гарнитурами.

Кондрат Егорович Кедров входил в элиту по праву: он обитал даже не у подножия, а выше – в предгорьях верховной власти.

Ту ночь он провёл у камина на даче Мартына – на Клязьме. Они воевали на разных фронтах, но оба были Героями. Кедров получил Золотую Звезду за Висло-Одерскую операцию – закрепился на плацдарме и вызвал огонь на себя. Мартына наградили за штурм Кенигсберга. Задружились они случайно, шагая рядом – плечо в плечо, – когда шла подготовка к Параду Победы 45-го. И в мирной жизни пошли параллельно. Кондрата позвали в Институт международных отношений, а Глеба (Мартынов – это фамилия) взяли в Энергетический. Фронтовиков везде брали без конкурса, а уж за Героями так и вовсе охотились.

Для Кондрата Егоровича кончина Брежнева была рубежной печалью, он понимал, что она подводит итог и его жизни. Вместе с Леонидом Ильичом уходило в прошлое поколение победителей, к которому принадлежал Кедров, и этот перелом неизбежно отразится на судьбах страны. Не в кремлёвских старцах дело, не в седовласых, омоложение правящего слоя – дело нормальное. Но теперь к власти идут люди, не нюхавшие пороха, штафирки, а это иной коленкор. Да и вообще, с соседями по возрасту, а особенно по историческому времени, всегда непросто. Новосёлы прежде всего о репутации заботятся – не о деле. А репутация, она что? Сиюминутная пыль... Любой ветерок сдует. Аппаратчик опытный, знающий все партийные расклады, Кондрат Егорович понимал, что эпоха отцветает, а её слом – пора неказистая, тягучая, липкая. Транзитное время, оно по самой сути своей зыбкое. В ближайшие годы на верхах начнётся цирковой галоп, пойдёт кутерьма-чехарда, обновится власть не сразу, через незримые со стороны подвижки. Однако же, как памятно сказал ему молодой секретарь ЦК Горбачёв, когда подписывал бумаги на новых людей в аграрном отделе, процесс пошёл. «Укороченным шагом», – мысленно комментировал его слова Кедров.

В одиночестве переживать и обдумывать грядущий перелом жизни Кедров не хотел. В такие минуты, часы и дни нужны людям разговоры душевные и, само собой, безопасные – на этот счёт у Кондрата Егоровича жизненный опыт был. А с кем делиться сокровенным? Только с Глебом.

Рюмкой коньяка они помянули Леонида Ильича. Кедров задумчиво сказал:

– Брежнев на параде Победы с нами по Красной площади шагал. Прочувствовал, что такое поступь победителей, что такое державный шаг. Свой брат, прошёл войну от звонка до звонка. Думаешь, почему он после Никиты начал реабилитировать Сталина? Сколько пересудов было! Тридцать седьмой го-од, тридцать седьмой го-од... А я-то знаю, что Леонид Ильич не тридцать седьмой, а сорок пятый возродить хотел. Вместе с памятью о Сталине военный подвиг народа славил.

Мартын хитро усмехнулся:

– Сопли ностальгические утри. В 47-м День Победы отменили...

– Глеб, ну мы-то с тобой знаем, почему. Нас Сталин испугался, фронтовиков. Потому и большой дембель объявил, вполовину армию сократил. Мы после передовой ни Бога, ни чёрта не боялись, если кого из наших хмурые ребята не по делу тронут, весь батальон мог подняться, кому хошь могли наладить. А что такое батальон военного времени, ты знаешь. Батальоном Рейхстаг брали... Фронтовик – что пароль «свой», все мы из одной чаши причащались. Ты лучше скажи, почему Никита Сталина клял, а День Победы так и не вернул.

– Думаешь, он не опасался?

– А Леонид Ильич уже в 65-м, на первом своём параде, Сталина помянул и День Победы объявил праздником. В ту пору он меня по службе изредка вызывал, за Звезду отличал особо. Так и сказал однажды: «Сталина из истории выкинули, а вместе с ним и подвиг народа. Будем восстанавливать...» Но не просто это было, куда как не просто. Ты, Глеб, своими ракетами занимался, наверное, о «Письме двадцати пяти» и не слышал, а в ЦК все на ушах стояли.

– Это почему же не слышал? Оно открытое было, кое-кто из наших академиков подписал, потому я о нём знал, хотя не читал. У нас все знали, но между собой не обсуждали, приняли к сведению, и всё. Подозреваю, у каждого на этот счёт своя мысль была.

– А я вгрызался. Представляешь, 1966 год, только-только Брежнев начал Победу поднимать, и на тебе письмо «О недопустимости частичной или косвенной реабилитации Сталина»! И подписи серьёзные – культурная, научная элита. Эрнст Генри то письмо соорудил, это было известно... Сложная фигура, неясная. Офицер НКВД, старый разведчик, за рубежом работал, с Коминтерном был связан. Арестовали его за три дня до смерти Сталина, потом отпустили. И по части антисталинизма он стал главным заводилой, Сахарова раскрутил. Я его так и не понял. В том ещё для меня загадка, что он работал в Институте мировой экономики, а это, считай, мозговой штаб Международного отдела ЦК. Понимаешь, Глеб, всё на моих глазах происходило, я же всё видел. «Андроповских мальчиков», которых после Хрущёва для дружбы с интеллигенцией набрал в свой отдел соцстран Андропов – Генри с ними завсегдатай был. Я очень многое понимал, потому что МГИМО окончил. А вот Ростовского, Эрнста Генри так и не понял. Да он и не Ростовский...

Помолчали, потом ударились в воспоминания. Глеб спросил:

– Ты как-то говорил, что на поминках Сталина погорел, самое время припомнить. Опыт давних дней...

– Погорел, зато потом выиграл. Мы компашкой сели вождя помянуть, наверное, я лишнего и сболтнул, в молодости-то не рюмками пили, сам знаешь, утром перегар на гектар. А кто-то, видать, стукнул. Но после смерти Сталина порядки в один день смягчились, а у меня вдобавок Звезда. Ну и отделался тем, что лишь хвост прищемили, с работы турнули, только и всего, – меня после института в спорткомитет на международные связи кинули. Я ведь, Глеб, в 52-м году в Хельсинки на Олимпиаду наших ребят-девчат возил. О! Там такое было! Как вспомню, душа поёт. Представляешь, в футбол за двадцать минут до конца матча мы проигрывали 1:5. И кому? Югославам, Глеб, югославам! А Тито – главный враг Сталина. И 1:5! Ну, ты понимаешь, что с нами творилось. И вдруг... Глеб, я же это своими глазами видел! Бобёр один за другим заколотил три мяча! А для четвёртого гола такую подачу выкатил, что ни забить, ни забыть невозможно. Ничья! Какой Пеле! Ему великую славу сделали, а нашего Севу Боброва

обделили, не умели мы мировую славу своим героям делать. Ничего подобного на Олимпиадах с тех пор не было, я слежу...

– Ишь, как разошёлся. Ну, хвост прищепили, а дальше что?

– А то, что уволили, и я снова на выданье. Но ворон – не ворона, Герой Советского Союза безработным быть не вправе, вот в ЦК и позвали. Шире шаг! Даже короткоствол на какой случай выдали. «Громко сесть или тихо уйти?» там уже закончилось.

– Не понял.

– Это из аппаратных шуточек того времени о сталинских временах. Но я в ту пору думать не думал, что на всю жизнь в ЦК пригнездился.

– А сейчас ты да-а, персона. Тебе ли жить в печали?

– Эх, Глеб, характеры у нас с тобой не те, чтобы выше крыши прыгать. Вот ушёл Брежнев, я же знаю, в ЦК всех трясёт, шкодливой публики у нас много, я их называю «обожателями небожителей», походке завсектором подражают, вот до чего чинопочитание доходит. Каждый спешит закрыть старые счета, о своём завтрашнем дне печётся. Оберперевёртыши. На верхах фамилии сейчас пойдут другие, но фимиами будет прежний. А я спокоен, я – ничейный, мне всё равно, кто власть перехватит. Потому и членом ЦК не стал, туда ничьих, кто не в команде, не берут. Это у тебя, дорогой мой, можно в одиночку, на характере, опыте и мозгах до директора подняться.

– Мнишь себя стратегом, видя бой со стороны, не будем об этом. Тебе известно: на фронте был слепо храбрым, а на гражданке труса празднует распоследнего, тут другое мужество нужно. Ты что, не знаешь таких?

– Знаю, знаю... А сейчас вот о чём думаю. Всё-таки Сталин мудро ставку на фронтовиков сделал. Что широко дверь в институты перед нами распахнул, это одно. Но мы-то с тобой в сержантах ходили. А офицеры, которые через огонь прошли? Для Сталина они были главным кадровым резервом, он им везде дорогу открыл, прежних тыловых крыс к чёрту повыгонял и на их место фронтовиков поназначал. Управленцев сменил от Москвы до самых до окраин, до райисполкома, везде фронтовики первыми стали, а уж капитанить-то мы умели. Я на кадрах сижу, какую анкету ни возьмёшь – отец у него фронтовик, и после войны, на гражданке сразу пошёл в служебный рост.

– Погоди, дай слово молвить. Запечатлеть зады истории и я могу. Заводы тоже фронтовики подняли. Я на производстве с 51-го, но уже к тому времени мы довоенный уровень переплюнули. Мужики словно в бой шли – отчаянно вкалывали. Истосковались по мирному делу, радость от него получали. Что хочешь могли изобрести, хоть автобус с вертикальным взлётом. На инженеров заочно доучивались. В то время никаких тебе обманов, приписок. – Весело поиграл лицом. – Помню, мы с кагэбэшниками вусмерть над чертежами дерёмся-ругаемся, а потом в обнимку идём по пивку. Никаких дрызг!

– Кагэбэшники?

– Ты что? КБ! Конструкторских бюро пруд пруди было... Давай, Кондрат, ещё по маленькой, прошлое душу бережит. Помню начало мирной жизни. Я ведь позже тебя демобилизовался, уехал в свой Ростов, записался в строители – Ростсельмаш восстанавливать, весь город этой мечтой жил, под баянные басы песни про завод пели. Вдруг читаю в газете: такого-то числа в Москву идёт бесплатный вагон для фронтовиков, желающих поступать в институты; кто хочет, милости просим. – Зажёгся: – Кондрат, я же не про эпизод личной жизни говорю. Сталин по всей стране умников собирал, в низах искал. Учись, где хочешь, флаг тебе в руки, барабан на шею! Бесплатный вагон! Это же придумать надо, такое не сразу и в голову придёт. Ну, я приехал, глаза разбежались – куда поступать? Две ночи на Курском вокзале бедовал, пока с Энергетическим не определился. А как документы подал – сразу общежитие. Вот оно как было! Сейчас в эту сторону верховные мозги и не думают. А ты откуда-то с северов?

– Обский, из Колпашева Томской области, в 41-м призвали. Сибирские дивизии до фронта без разъездов мчали, на перепряжке паровозы под парами ждали. Успели! И с ходу в бой. За нами Москва, отступать некуда! Кстати, недавно меня Копанец из отдела соцстран огорошил: что же ты, Кондрат, маршалом не стал? Я отмахнулся, а он говорит, что из десяти маршалов Победы девять были родом из деревни. Я и не знал.

– Выходит, и мне светило. Меня из станицы двух лет вывезли... Мы с тобой, Кондрат, делегаты прошлого. Я начинал под Ельней, первогвардейцем. После тех смоленских боёв в сентябре 41-го гвардейское звание и ввели. С нашей дивизии начали.

– Из Колпашева помню только главную улицу, которую исстари мостили кедровым торцом – крепче камня, а для колёс мягче.

– У меня в одном из цехов тоже деревянный торец. Прочно, не скользко.

– А Сухой Лог, деревенька наша ещё жива. Но я оттуда отца с матерью в Москву забрал, потом их на Ваганьковском приютил.

Глеб хитро прищурился:

– Для себя Ваганьково забронировал?

– Промеж глаз бьёшь, – рассмеялся Кедров. – А почему нет? Сам говоришь, мы теперь иные, не прежние. Когда в бой шли, себя не жалели. Глеб, ты представляешь, что значит вызвать огонь на себя? Мои координаты у пушкарей на ладонях записаны, бьют в точку. Как выжил, только Господь знает. После войны никуда не просился, пошёл, куда Родина позвала. – Наполнил свою рюмку. – После XX съезда я по случаю полез в довоенные подшивки «Крокодила». Мать твою, журнал забит карикатурами на бюрократов. Или «Волгу-Волгу» возьми. Ильинский такого бюрократа там выдал, что по сей день все помнят. А после войны, до Хрущёва, когда фронтовиков в управленческую стихию кинули, слова «чиновник», «бюрократ» из моды вышли. Не были мы, Глеб, бюрократами, не были! Потому страна и рванула вперёд. Чай, сам всё знаешь.

Пригубили. Мартын задумчиво сказал:

– Ишь, как тебя научили нарядно говорить... Да-а, мы с тобой хвостом не вертели, четыре эпохи отмотали-отмахали. Война, Сталин, Хрущёв, Брежнев. Что будет дальше, поглядим. – Опять хитро прищурился. – Знать-то я много знаю. А вот куда ты сейчас гнёшь, только догадываюсь.

Кондрат чуть-чуть пригубил, слегка покривился от горечи.

– Ты у нас быстроумный, верно догадываешься. Пожалуй, только после Хрущёва я понял замысел Сталина. Он служивых фронтовиков опасался, знал нашу силу. И решил применить нас на гражданке. Новую элиту он из нас создал, вот что, Глеб!.. Трёх зайцев одним махом уложил: угрозу для себя устранил, дал мощнейший импульс развитию страны, а заодно и генеральскую элиту разбавил – после Победы маршалы-генералы в великом почёте были, с точки зрения Верховного это тоже опасность, лампасоносных без пригляду оставлять нельзя. Спроса ли Хрущёв Жукова убрал? Сталин таких, как мы с тобой, в разные сферы внедрил, в ранг элиты возвёл и вровень с генеральской гвардией поставил. Гений – он и есть гений!

Теперь пригубил Мартын. Кедров сказал о том, о чём Глеб много думал, но не мог с такой ясностью осознать секрет и своей судьбы и послевоенной судьбы страны. Всё верно говорит Кондрат, так и было. Они вернулись с фронтов и, встав у рычагов власти – сверху донизу, – не рядясь о чинах, снова пошли в бой. Ну, вообще говоря, об этом сказано много, фильм «Председатель» чего стоит! Там Ульянов бывшего фронтовика сыграл потрясающе. Однако же... О чём-то Кондрат недоговаривает. Разговор пошёл крупный, под статью сегодняшнему историческому дню, надо идти на глубину, ставить точки над «и».

Поддал жару:

– Кондрат, чего кряхтишь вокруг да около? Давай напрямую, ты о чём толкуешь? Или огонь на себя боишься вызвать?

Кедров медлил. Не потому, что раздумывал, как ответить, – не знал, что сказать. Скоро стукнет шестьдесят, опыта с лихвой, взобрался на вершину умений, хворь не накрыла, не высох, не усох, мудрость пришла, память не дырявая, не в маразме. Жизнь удалась. В торопливых повседневностях, замороженный аппаратной суетой, он уже давно не размышлял о прерватностях своего земного бытия, а ведь есть над чем подумать. Отсчёт этого бытия Кондрат вёл с того предвечернего часа на Висло-Одерском плацдарме, когда его живым-невредимым откопали в полузасыпанной свежим разрывом предыдущей воронке – рыть окопы было некогда, на голый берег высадились. В тот миг он даже не понял, что чудом избежал верной смерти. Отряхнулся, словно пёс, вылезший из воды, чесанул пятернёй волосы, чтобы стряхнуть песок пополам с глиной, и побежал по войне дальше. Когда представили его к Герою, тоже не врубился, фронтовая текучка так заедала, что не до наградных переживаний. Но когда присвоили Золотую Звезду, когда вся рота в его сержантскую честь устроила удалой сабантуй, – только тогда он начал осознавать, что произошло там, на плацдарме: лейтенанта Кудряшова убило, и он, сержант, подхватив рацию, принял командование, вызвал огонь на себя. Да, с того дня пошёл новый отсчёт бытия. Позвали в МГИМО, потом на престижную должность в ЦК – в ту пору Кондрат в свою жизнь не вдумывался, места себе не приискивал. Коли позвали, значит, нужён. Звали бы в инженеры, работал бы на заводах, как Мартын. Но после XX съезда кое-что начало меняться – и в стране, и в его жизни. Бывшие фронтовики, ставшие правящим слоем, на фоне хрущёвских назначенцев негласно называли себя сталинской элитой. А вот дальше... Дальнейшее Кедров давно не осмысливал, спокойно плыл по течению. Но смерть Леонида Ильича – да, это рубеж, Мартын неспроста зовёт на глубину. А что там, на глубине? Придётся доискиваться по ходу...

Наконец заговорил:

– Чтобы невпопад не стрелять, давай разбираться, что с нами произошло. Начинали мы простыми солдатами, нас миллионы с фронта вернулись, и перед каждым Сталин распахнул дверь в большую жизнь. Поступай в институт без конкурса, высшее образование – пропуск в завтра, первым парнем на деревне станешь. Понятное дело, выйдя из боя, фронтовики по реальному делу тосковали, из миллиона только тысячи пошли учиться – дело трудное, в руках сила есть, но мозги-то на войне простыли, не до науки. А мы с тобой пошли, хотя учиться было труднее, чем воевать. – Нажал голосом. – Мы с тобой были нужны Родине, и снова – в бой, каждый с самим собой. Так я говорю?

– Говори, говори. Ты меня знаешь, если что, у меня не заржавеет.

– Выучились. И как на войне, никуда не просились – шагали по приказу. Но Сталин сделал ставку на фронтовиков, и нас с тобой потащили вверх. Я же понимаю, как это делается. Просто, очень просто. Была когда-то разнарядка заталкивать в партию рабочих, и мы им семь вёрст до небес сулили. – Нахмурился. – Промахи у власти были, без перекоса не обошлось, беспартийных стали придерживать. Потом поступила команда звать в ЦК людей с производства...

– Ты не представляешь, как на меня жали.

– Глеб, я тебе пить больше не дам. Ты что, забыл, как приезжал ко мне за советом, а я по дружбе разобъяснил, что в аппарат ты уже опоздал, здесь карьерная толчея, много лишней докуки, бесшумно карьеру не сделаешь, и лучше бы на заводе остаться, там тебе рост обеспечен.

– Тьфу! Извини, Кондрат.

– Возвращаюсь к мысли. Сталин на таких, как мы с тобой, сделал ставку, но нам-то надо было соответствовать.

Мартын вдруг громко расхохотался.

– А теперь ты промазал. Мыльницу банную помнишь? Так соответствовал, что зад от стула не отрывал, жиром заплыл.

– О-о! Да, это история.

История и впрямь была памятная. Примерно к тридцати пяти Кедров, который вёл сидячий, чиновный образ жизни, начал округляться, и Мартын не предложил, нет, жареными словами потребовал, чтобы Кондрат отправился с ним в баню. В Сандуны? Какие Сандуны! В самые что ни на есть простецкие – в Чернышевские. Давно уж нет тех бань, снесли, а в ту пору они славились, ибо в центре, внутри бульварного кольца, метров сто от храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. В подвалах там топили угольные печи, и свежий пар шёл в общую парилку, где всегда было туманно и горячо. Вспомнив солдатские времена, поскоблелись, потом Мартын велел обтереться насухо и поставил лицом к стене. Тело распаренное да вдобавок жарко, и с Кондрата полил пот. А Глеб острым краем пластмассовой мыльницы водил по спине от поясицы до плеч. После каждого прогона показывал мыльницу – она наполовину заполнялась чистым, без воды, потом. Три кэзэ за один банный сеанс снял с него Мартын знаменитым приёмом боксёров – для сгонки предбоевого веса.

– Ну, вспомнил, как начал соответствовать? – продолжал смеяться Глеб.

– Сколько раз ты меня в баню таскал?.. По-моему, всего-то раз пять. Но вот что чудно. Помнишь, в прихожей Чернышевских бочковое пиво наливали? Так мы же с тобой после парной восполнялись кружек по пять на брата, а вес всё равно с тех пор стабилизировался. Как в «Кубанских казаках», каким я был, таким я и остался.

– Слушай, казак лихой, орёл степной, а с мозгами-то как? – в своей манере подначил Мартын. – Неужто тоже прежний?

Это был приказ возвращаться к главной мысли, и Кондрат стал размышлять дальше.

– На чём я остановился?.. А, нас с тобой по замыслу Сталина потащили вверх. На высоком галопе шли, как тогда говорили, для скорости огурцы шайбами резали. Я в ЦК партии от души вкалывал, аж дым из ушей валил, в те тощие годы у нас ни квартир, ни хороших зарплат не было, зато рабочий день не нормирован. Нам с Зиной две комнаты в общежитии дали, там Димку и пестовали. Бывали дни, когда на сиротке сидели – гречневая каша без молока-масла. Сейчас самому не верится, а ведь так было, Глеб. Но при Никите у меня жизнь пошла другая, только Звезда спасла, потому что явились в аппарате новые люди. Вроде бы разные, но... работают в хору – все орут и я ору. А песня у этих разговорщиков в строю, этих истинверцев мне не по душе. Виртуозы текущей жизни, никаких обязательств перед прошлым. Скажут, они и на корову хомут оденут, да клешнями сверху. Ну, о чём говорить, – паркетное мышление. Фронтовиков стали понемногу оттеснять. Переводили на хорошие должности в разных ведомствах, иной раз с министерским саном, короче, под рублёвый грех грошовую свечу ставили. ЦК – это же инкубатор кадров. Но замысел-то мы понимали: началась чистка номенклатуры, идёт перехват управляемости, в ЦК готовится аппаратная перестановка. Через три года выяснилось – антисталинская. Вдаваться в эту тему не буду, но, кстати, всё же замечу, что мы, фронтовики, тоже разные. Меня из ЦК знаешь кто особенно выживал? Черняй. А он, право слово, тоже фронтовик, всю войну прошёл, не отнимешь. Сперва сделал предупредительный выстрел в воздух – впрямую намекнул, чтобы я маршировал подальше от Старой площади. Я не шевельнулся, ну и началось... Потом, при Брежневе расчёсывать старые обиды я не стал, у нас своя аппаратная этика. Но до сих пор не ручкаемся, кивками обходимся. Я ведь понимал, почему он подзуживал, чтоб от меня избавились. Я по базе международник и хорошо понимал его линию. Он в Праге с западными мозговыми центрами задружился, на мой взгляд, чрезмерно оттепельным стал, из коммунистов переквалифицировался в гуманисты. А я на кадрах сижу, понимаю, кого и куда этот гегельянец тащит, на мякине меня не проведёшь. Мешаю. Я у него был словно камушек в ботинке.

– Меня с Черняевым на прошлом съезде познакомили. Что за человек, сказать не могу, в ваших партийных делах не силён. Но показалось, что с очень развитым чувством собственного величия. Сгусток интеллекта!.. Кажется, начинаю тебя понимать.

– Я пока сам не знаю, куда рулю... Да, при Никите многое стало иначе, в ЦК появились привилегии, и немалые. Мне квартиру в новостройке дали, некоторые подмосковные санатории мы под себя взяли, да не для путёвочного отдыха, всё лето там семьями жили. У меня была половина домика там, где Паулюса разместили. Условия ему создали, скажу тебе, люкс... О-о-о, Глеб, кажется, кое-что нащупал. В то время в номенклатуре зашелестело новое слово – элита. Мы – сливки общества, лучшие люди, правящий класс, с нас особый спрос, мы, власть имеющие, взвалили на свои плечи ответственность за судьбу страны. Но, уж будьте добры, оцените наше усердие по полной! Никита им и ответил: да ради Бога, господа хорошие, усаживайтесь поудобнее. У них пламенные восторги, и вместо ветвистой пшеницы Лысенко подсовывают ему кукурузу – что хрен, что редька. Кстати, в 56-м Трофима с президента сельхозакадемии сбросили, а в 61-м снова назначили. Понял, что творилось? Ну, извини, опять с темы соскочил, очень уж горячими у меня были трения с той эластичной публикой. А если по делу, тебя в ту пору тоже обласкали, ты квартиру получил краше моей, до сих пор в сталинском доме живёшь.

– С твоими нынешними апартаментами не сравнить.

– А я, кстати, к своим апартаментам и подбираюсь.

Мартын снова перебил, режим монолога его не устраивал.

– Не маши языком, дай слово сказать. То гулкое время я помню. Управлять экономикой тоже стали по-новому. И верно, пошли разговоры об элите, причём под элитой министерские подразумевали себя. Ну что ж, элита так элита, эка важность. Однако на заводах-то мы сидим, без нас производство встанет. И ты правду сказал, мы себя стали считать сталинской элитой. А у них даже имени-названия не было, мы их кликали радетелями за народное счастье, зачистую и горбатыми словами честили. Но о чём ты говоришь, я три месяца назад стал думать – когда хоронили академика Пилюгина. Я его хорошо знал. Он на фронт рвался – самый возраст, тридцать три года, – но Сталин не позволил, далеко вперёд глядел. И Пилюгин разработал всю автоматику для наших первых ракет. Да и нынешние – тоже его работа. Не воевал, но мы, фронтовики, считали его своим, из поколения победителей. Когда он ушёл, я и подумал: Брежнев тоже на исходе, а как будет при вождах, не нюхавших пороха, кто знает? Были мы сыновьями эпохи, да как бы не стать пасынками.

Кедров плеснул себе немного коньяка, понюхал, но пить не стал. Время выигрывал для ответа, потому что подошли они к главному. А главное начиналось для Кондрата далеко-далеко от этого уютного дома на Клязьминском водохранилище – и по времени, и по расстоянию, в таёжном Сухом Логе на берегу Оби. Никогда не потускнеет в памяти, как на масленицу блаженной памяти дед Василий запрягал мухортую кобылу Зорьку и с вскриками «На санях кататься, в блинах валяться!» возил по деревне ребятишек. Зорька в нарядной выездной сбруе, которую дед пошил сам и богато разукрасил пуговками из самоварного золота. Дуга расписная, а под ней неумолчно, гремливо звенит колокольчик «Дар Валдая», который привезла когда-то в Сухой Лог очкастая Вера Ванна, учительница, присланная в тайгу из Ленинграда. Колокольчик она пожаловала Василию Кедрову на память, и для него это был самый дорогой подарок. После войны дед рассказывал, как с этим колокольчиком он санным обозом возил в Томск пельмени для фронта, вёрст двести. Те ранние годы вспышкой мелькнули перед глазами Кондрата, и он не мог не думать о том, как высоко вознесла его судьба. Был никем, стал всем!

– Понимаешь, Глеб... Нового замзава общим отделом – из молодых да ранних, сверкал довольством, как надраенная бляха, – наградили шикарной квартирой в ведомственном доме. Он со мной сразу на «ты», панибратски, из него и полезло: «Кондрат Егорыч, ты чего ютишься в панельной дешёвке? На кой тебе бытовые неувязки? Раскинь умом. Иди скажи, что по семейным обстоятельствам хочешь расшириться, соседями будем, об межу». Уж так словами бряцал, что после той рацеи я и подумал: а почему я должен жить хуже, чем этот ушлый прохиндей из плеяды карьеристов, придворный холуй, который во фронт перед начальством тянется, циник

отпетый? У которого на уме одно: вкусно есть и сладко спать. Он же сам мне докладывал, что по старому поверью живёт: чьё вино, того и здравьице. Я таких типажей по сей день встречаю. Говоришь с ним – улыбка искренняя, в глазах интерес неподдельный, а на поверку – плевать ему на всё, только свою выгоду блюдёт, из карьеры рысачит. Ну, да бес с ним... Короче, я и подумал: за Родину кровь проливал, сейчас на совесть жилы рву. Штаны на лямках не носил, всегда в портуpee. В самоволки не ходил. Дурным наклонностям не подвержен. Почему я должен на пустых щах сидеть? Имею право!.. Вот мне и взволилось. Возымел желание въехать в апартаменты, а по крупному счёту внедриться в премиальный образ жизни, в элиту. А сталинская или какая другая, в то время я не задумывался.

– Но потом-то разницу понял?

– Тут так, Глеб. Разница, она в отношении к делу, мы с тобой всегда на совесть пахали и по сей день так пашем. А касаясь устройства жизни... Почему мне, фронтовику, не пользоваться теми благами, какие даёт высокая должность? Не ворую, не мздоимничаю, служу Родине честно, бесперечь. Я, таёжный парень, смертию смерть поправ, – в буквальном смысле, Глеб, в буквальном! – вырос до элиты. Спасённому – рай! Был солдатом с блиндажной скаткой, в киржачах-шурупах – в гармошку, стал элитой с апартаментами. С кем попало коньяк не пью. В чём проблема, Глеб? Почему я не вправе на веки вечные закрепить новый статус моего рода? Нашему роду нет переводу. О чём говорить, ежели Господь так моей судьбой распорядился? Мы с тобой коммунисты, но знаем, в окопах атеистов не было.

Теперь молчал Мартын, пережёвывал услышанное. День особый, по-своему исторический, для них с Кондратом тем более, ибо кончина Леонида Ильича подводит черту эпохе великих стараний фронтового поколения. Да и в стране что-то наверняка повернётся, хотя неясно, в какую сторону. Кондрат для того и приехал, чтобы осмыслить этот жизненный перелом, с пятого на десятое тут не скакнёшь, не до антимоний. Конечно, у них в аппаратных структурах предчувствие грядущих перемен острее, в промышленности по Брежневу не особо будут тосковать. А вот что касается элиты... Мартын тоже не остался тем дворовым ростовским казачком, каким был до войны, стал первым парнем на районе – лауреатом Госпремий, директором «бриллианта» оборонки. Самая что ни на есть элита! И всё случилось так, как рассказывал про себя Кондрат, раньше Глеб над своей элитарностью не задумывался, только и всего. Да... Кедров вбросил новую тему. Но не для этой ночи, вообще не для этих дней.

– В чём ты прав, Кондрат, стопроцентно, так в том, что мы с тобой, не думая не гадая, заделались элитой. Но, добавлю от себя, остались солдатами: ты солдат партии, я солдат нашего вундерваффе, супероружия. И по-прежнему, каждый на своём посту, сберегаем Родину. Но есть заковыка: на фронте мы окопной правдой жили, а теперь – штабной. И значит, ответственность на нас особая. Хрущёв фронтовую, сталинскую элиту кем только не разбавлял, а Леонид Ильич сам был военного склада и нас оберегал. Знал, что мы ребята пороховые, боевого строения у нас головной мозг, портянки у нас всегда сухие, в любой миг готовы «В ружьё!»... Наверное, Кондрат, разговор этот ночной станет новой точкой отсчёта, другие времена стучатся в двери, с прошлым несообразные. Такие передовизмы теперь могут объявиться, что только держись, как бы не приперчило... Ну что, ещё по одной? Как-никак, хороним эпоху.

– Пока только отпеваем... – отмахнулся Кедров.

Он слушал вполуха, был поглощён тем, что добрался-таки до яйца с иглой под дубом на острове Буяне и похоронил Кошечку сомнений, который, таясь в глубине души, время от времени портил настроение.

Нет, не напрасно в ту тревожную ночь он примчался на Клязьму, к Глебу!

3

На повороте в Переделкино Геннадий кивком указал на высокий зелёный забор.

– Бывший дом Будённого, может, и нынешний, в смысле родственников, мне неизвестно.

«Волга» мягко катила по извилистой узкой дороге, Балаев часто притормаживал, неторопливо пояснял:

– Говорят, за Будённым прислали комендантский взвод – хотели арестовать. А он выставил в окна пулемёты и кричит в матюгальник: «Рано петь отходную! Кто в ворота сунется, уложу на месте». Байка, наверное, но, тем не менее, Сталин его оставил в покое, потом даже приласкал.

Дмитрий с Варей сидели позади водителя и от самой Москвы с интересом слушали его «вводную» к сегодняшнему субботнему гостеванию. Балаев пригласил их к своим добрым знакомым, скорее, друзьям, которые жили в Переделкине. Само собой, была у них и московская квартира – даже две. «Но однушки», – уточнил Геннадий. Однако, жить за городом, да вдобавок в знаменитом писательском посёлке удобнее, престижнее и целебнее. Хотя ни Юра Степнов, ни его жена Антонина не литераторы, дом куплен. И, видимо, за немалые деньги, потому что, во-первых, он рубленый – брёвна дышат, воздух внутри всегда свежий, во-вторых, он двухэтажный, а в-третьих, участок большой, на нём просторный гараж с мойкой и даже площадка примерно на пять гостевых машин. По нынешним меркам – шикарно. Но всё по-честному, Степновы никакие не торгаши, не цеховики, Юра – солидный фотокор из правительственного пула, сперва с Хрущёвым, а потом с Брежневым весь мир облетал. Живут они широко, гостей к ним наезжает много – от Москвы близко, двадцать минут, – иностранцев привечать не стесняются. А ещё... – Балаев сделал многозначительную паузу. – Вообще-то эта большая переделкинская дача куплена на двоих, на втором этаже, с отдельным входом, живёт Супер.

– Что за Супер?

Геннадий рассмеялся:

– Я этого вопроса ждал, нарочно интриганул. Супер – это дружеское прозвище, зовут его Вячеслав, а Супер он потому, что... – опять сделал картинную паузу – он генерал КГБ. Всё понял, Дима? Интересный, очень интересный дом у Степновых. Рафинированный. Сам почувствуешь.

– Любопытно... Люди нашего возраста?

– Какого нашего! Я же говорю, Юра ещё с Хрущёвым по миру пошёл. – Засмеялся своему каламбуру. – В два раза старше, примерно шестьдесят. Но это не имеет значения, люди лёгкие, с ними все по имени общаются, без отчества.

Подъехав к дому, Геннадий вылез из машины, нажал кнопку на калитке, назвал себя. Вернувшись на водительское место, почтительно сказал:

– Всё по высшему классу. Ворота автоматические, сейчас отъедут. Их по заказу в разобранном виде из ФРГ доставили, а здесь смонтировали. Конечно, и домофон есть. Все пискиты технической моды.

Степнов оказался крепким мужиком чуть выше среднего роста, плечистым, с располагающей улыбкой. Как и предупреждал Балаев, представился он запросто – Юрой. Оценочным мужским взглядом посмотрел на Варю и, видимо, остался доволен: украсит компанию. Дмитрий понял, интерес к нему возрос, он знал, что в кругу людей зарубежной «ориентации» успешность мужчины в немалой степени зависит от внешнего вида его жены. А Варя сегодня – впрочем, как всегда – вполне комифо.

В просторной комнате с большим камином Кедровы застали лишь одного гостя. Он поднялся с углового дивана, обрамлявшего половину массивного круглого стола, шагнул навстречу, протянул руку, сказал с милой улыбкой:

– Феликс Стерх, постоянный посетитель сего гостеприимного жилища. Рад прибавлению нашей замечательной компании.

Из боковой двери вышла поджарая женщина со строгим выражением лица, одетая просто, по-домашнему, но с жемчужной нитью на шее. Юра представил:

– Моя дражайшая супруга Антонина, в просторечье Антон. Смотрите, как вырядилась! А потом будет скорбеть, что у нее жемчуг мелкий.

Антонина мельком взглянула на Дмитрия – Балаев, конечно, заранее «заполнил» объективки на новых гостей, – и обратилась к Варе:

– Мужики не понимают: если жемчуг не носить, он тускнеет. Милая моя, от души рада видеть вас в нашем доме. Но здесь свои порядки, женщин не так много, а потому они сообщают обслуживают этих чёртовых мужиков. Айда на кухню, там и сойдёмся поближе.

– Они сейчас приготовят грандиозный обед с нажористым борщом, – засмеялся Степнов. – Выставят на стол вазу с фруктами да несколько пиал орехов, изюма и прочих прикусок.

– А бутылцы и бокалы – это твоя обязанность, – парировала Антонина. – Банки с пивом на веранде. Самопальный спирт не гоним, «Вдову Клико» не держим.

– Где ещё можно сейчас попробовать баночного пива, если не у Степновых! – воскликнул Стерх, вернувшийся на своё место за столом и пригласивший Дмитрия сесть рядом.

Обстановка была непринуждённая, располагавшая к общению, никаких цирлихов-манирлихов. Некая настороженность, с которой Кедров переступал порог этого дома, быстро ушла, тем более беседу начал Феликс.

– Балаев говорил, что вы работаете в Институте международного рабочего движения, но чем сей Институт занимается, ума не приложу. Ах, извините, забыл представиться – переводчик московского отделения агентства «Ассошиэйтед пресс».

Вопрос об Институте Стерх преподнёс в виде беспечного, невинного замечания, и Дмитрий, прикинувшись Швейком, предпочёл бы пропустить его мимо ушей. Однако Феликс смотрел на него в упор и явно ждал ответа. Но как ответить, если знакомство случайное и мера откровенности не ясна? Если на самом деле Институт занимается чем угодно, только не рабочим движением? Можно, конечно, отделаться формальностями, но вдруг этот переводчик из «Ассошиэйтед пресс» только прикидывается простачком, и неверный ход выставит Дмитрия в дурном свете. Кедров осторожно сказал:

– Институт сравнительно молод, двадцатилетний юбилей не справил. Название действительно тяжеловатое на слух. Но исследование классовой борьбы требует основательно изучить современную западную философию, а это весьма интересное занятие, я бы сказал, захватывающе интересное.

Стерх продолжал молчать, и это означало, что он ждёт продолжения. Дмитрий вежливо усмехнулся и то ли в шутку, то ли с сарказмом добавил:

– Превозносим и низвергаем. Приют общественных наук, очаг свободной мысли!

Но Феликс не упустил намёка и сделал встречный шаг. Расплылся в улыбке:

– Ещё бы! Мераб Мамардашвили!

Это был пароль. Дмитрий облегчённо рассмеялся:

– Он у нас уже давно не работает, я его не застал. Однако среда общения в Институте прежняя.

Теперь они прекрасно понимали друг друга, и Феликс протянул Дмитрию ладонь, чтобы тот хлопнул по ней в знак абсолютной взаимности чувств и умозрений.

Понимание было глубоким. Имя Мамардашвили для шестидесятников служило символом прогрессивных перемен. Отец рассказывал, что происходило после изгнания Хрущёва из власти. Первые четыре года при так называемом коллективном руководстве Брежнев нарабатывал авторитет, и умные люди в ЦК посоветовали генсеку «подписать» проект о гуманитарных академических институтах, в том числе «США и Канады», «Международного рабочего

движения». Пробивал их Черняев. Вернувшись из пражских «Проблем мира и социализма», он замзавом курировал науку в Международном отделе ЦК. Он же собрал в «Рабдвиже» кое-кого из тех, кто прошёл через «Проблемы», – во главе с известным на западе философом Мамардашвили. Так что для знающих людей «Очаг свободной мысли» – было шуткой лишь по форме.

Громко загудел домофон. Степнов снял трубку.

– О! Какой сюрприз! Открываю, открываю. – Оповестил: – Не званный, но приятный гость.

Юла Хрущёва.

Дмитрий знал, что Юла Хрущёва – удочерённая Никитой внучка, завлит театра Вахтангова. Но никак не предполагал, что увидит её здесь, в Переделкине. И когда вошла невысокая, худенькая женщина, Кедров, как и Феликс, почтительно поднялся, шагнул навстречу.

– Я на минутку, ехала мимо и решила на вас глянуть, с Нового года не виделись. – С иронией и с подтекстом сказала Степнову: – Ну, ничего, Юрочка, теперь будем видеться чаще, думаю, ты застрянешь в Москве надолго, зарубежные визиты не предвидятся.

Появилась Антонина, пошли дружеские объятья, щёкоприкладства. Но снова загудел домофон. Степнов оповестил:

– Стюарт и Харли прибыли.

Хрущёва «сделала ручкой»:

– Друзья, адью! Юра, я действительно на минутку. Подожди, не открывай ворота, сначала я выеду, а потом пусть они въезжают. Со Стюартом мы недавно общались.

И упорхнула.

Степнов объяснил Дмитрию и Варваре:

– Стюарт Хорн – корреспондент «Вашингтон пост», а Харли Блезер – профессор Джорджтаунского университета, ведёт там Русскую студию, часто бывает в Москве. Оба отлично знают русский.

Американцы ввалились шумно, весело, и Степнов усадил всех за большой круглый стол.

– Кому кофе, кому пива, кому слегка винца, а мне и коньячку можно, мне за руль не садиться. Впрочем, сегодня душа просит классического русского эквивалента.

– Будьте здоровы! – Поднял банку пива Стюарт, шустрый, цыплячьего вида. – Жаль, что Хрущёва уехала. Недавно пригласила меня и Катрин в Вахтанговский, давали «Будьте здоровы» Пьера Шано.

Феликс чокнулся банками, спросил:

– О чём спектакль? Идти стбит?

Стюарт пожимал губами, пожал плечами.

– Как у вас говорят, на лубителя. – Он говорил с лёгким акцентом, и особенно хорошо у него получалась буква «у». – Комедия: мнимая смерть, драка за наследство и узнавание, кто есть кто. Этуш, как всегда, великолепен, Шалевич неплох...

– Стюарт, ты потрясающе разбираешься в русском театре! – весело воскликнул Степнов, создававший своими экспрессивными репликами лёгкое застольное настроение.

– Благодаря Хрущёвой, она показала мне весь репертуар. Если бы она не уехала, я поднял бы в её честь банку пива.

– О-о-о! По поводу банок пива у нас была с Юлой целая история. Мы справляли здесь Новый год и часа в четыре утра начали разъезжаться. Но все подшофе, а на въезде в Москву пост ГАИ, там часто тормозят, а уж в новогоднюю ночь тем более.

– Дура лекс сед лекс, – вбросил Стерх.

– Мефистофель, ты можешь не перебивать?

– Не мефистофель, а манифестофель, – Феликс символически, денежно потёр пальцами. – Мани на платье от Армани.

Степнов отмахнулся:

– А ты у нас, оказывается, гедонист. Ладно, слушайте дальше. В Москву решили ехать караваном, три машины. Ну, я-то здесь остался, по рассказам всё знаю. А вот Балаев... Гена, ну-ка расскажи, как там было.

– Анекдот случился, – слегка хохотнул Геннадий. – Юлу мы первой поставили, её и затормозили. Я из машины выскочил, подхожу к гаишникам, их двое, а Юла уже даёт права. Он читает вслух: «Хрущёва Юлия Леонидовна»... И смотрит вопросительно на напарника. Тот берёт права, тоже долго читает, потом отдаёт честь и говорит: «Юлия Леонидовна, с Новым годом. Желаю вам и вашему папе здоровья». И возвращает права. А Юла показывает на наши машины: «Они со мной». Мы на Кутузовском остановились и долго рядили, что произошло. Гаишники, конечно, были сильно поддаты – новогодняя ночь! – ну, и поехали рассудком. Трасса правительственная, видимо, они перепутали: Хрущёва – это Хрущёв, а Леонидовна – это Брежнев. Вот у них и ум за разум...

Все расхохотались, а Харли, здоровяк с облезлым черепом, воскликнул:

– Будет о чём рассказать моим студентам!

Тон был задан, начался фестиваль баек. Степнов со смехом живописал ещё одну историю:

– Феликс, а помнишь, Лежнев привёз к нам сына Вилли Брандта? Он за столом как раз на твоём месте сидел. Ну, болтаем о том о сём, он и говорит: вашему Брежневу челюсть в ФРГ делали, и мы вставили в неё портативный микрофон, теперь знаем всё, о чём вещает ваш генсек.

– Да, в тот раз мы обсмеялись, – подтвердил Стерх.

– Хочу вернуть разговор к театральной теме, – призывно сказала Антон, стоя, двумя руками облокотившись на загривок мужа, сидевшего на мягком табурете. – Когда-то Галя Волчек пригласила Никиту Сергеевича на премьеру «Короля Лира». И после спектакля Хрущёв невесело пошутил: «Я и без вас знаю, как королей с работы снимают».

Громко зазвонил телефон, Юра снял трубку, воскликнул:

– Виктор, рад тебя слышать, мы с тобой уже недели две не пересекались. Подскакивай, у нас интересные гости...

Положив трубку, в обычной для него манере, в приподнятом настроении сказал:

– Это Виктор Луи, у него дом рядом, тоже в Переделкине. Через пять минут будет. – Обращаясь к Дмитрию, полагая, что из гостей только он не знает, кто такой Виктор Луи. – Фигура незаурядная, глобтроттер – путешествующий по глобусу от Израиля до Тайваня, по странам, с которыми у нас нет дипотношений. В качестве корреспондента английской газеты.

Между тем о Викторе Луи Дмитрию рассказывал отец, называвший его человеком со сложной биографией: от зека до легального советского миллионера с гаражом иномарок. Много легенд ходило о Луи и в «Рабдвиже». Поговаривали, что он на кормлении у КГБ, выполнял поручения самого Андропова, что он первым кинул в мир весть о смещении Хрущёва, а спустя годы передал на Запад его мемуары, заработав на этом сотни тысяч долларов, что он готовил вызволение из чилийской тюрьмы, а потом обмен Луиса Корвалана. Якобы он же продал в Париже оригинал дневников Светланы Алилуевой, которая намеревалась издать их в США. В результате французы напечатали знаменитые «20 писем другу» раньше американцев, которые могли без ведома автора понаписать в дневниках чётко знает что, это в их стиле. Упоминали о какой-то истории с передачей на Запад рукописей Солженицына. Короче говоря, по части выполнения тайных поручений у Виктора Луи была некая «специализация». Возможно, и в Переделкине он поселился не случайно.

Но так или иначе, а Кедрову стало ясно: Луи бывает у Степновых именно потому, что хорошо знает загадочного Супера. Было любопытно взглянуть на эту легендарную личность.

Виктор приехал, конечно, не через пять минут, а через полчаса. К этому времени общий стол распался, американцы пересели в кресла, о чём-то весело болтая со Степновым, Стерх и Балаев «дежурили» у большого окна с широким подоконником, глядевшего в сад, и тоже

вели свой разговор. Дмитрий с Варей остались вдвоём, и он спросил, чего это она сегодня так молчалива. Ответить Варя не успела, из кухни её поманила Антонина.

Наконец прибыл жданный гость, и все оживились. Виктор производил приятное впечатление: чуть выше среднего роста, плотного сложения, лицо правильного, можно сказать, идеального славянского типа, тонкие очки, одет просто. Он не стремился «тянуть одеяло на себя», а наоборот, старался привлекать к себе меньше внимания. После общего приветствия дружелюбно поздоровался с американцами, сел рядом с ними.

Но минут через пять заводная Антонина снова собрала всех за круглым столом, поставив на него множество разнокалиберных чашек-кружек и стопку чайных блюдечек, насыпав рядом грудой чайных ложек.

– Русский вариант табльдота в отеле Хилтон. Берите каждый, кто что хочет. И быстрее, шустрее! Сейчас принесём чай и кофе с тортом. Наливать себе будете сами. Спиртное тоже выбирайте сами, в нашем доме прохибишн нет. Вуаля!

– Стил «кэжуал», повседневность, – откликнулся Сьюарт.

Варя подошла с электрическим чайником – новинка, заграничная редкость! – Антонина принесла большой кофейник, нарезанный торт с раздаточной лопаткой, и мужчины с энтузиазмом принялись за дело. В этой относительной тишине вдруг открылась дверь, и в комнату вошёл среднего роста лысоватый мужчина средних лет.

– Сла-ава! – Воскликнул Степнов. – Какой сюрприз! За стол, сразу за стол! – Глазами поискал свободное место, оно оказалось около Вари. – Вот сюда.

И Супер – конечно, это он, сомнений у Кедрова не было, – сел рядом, представился Варе, услышав ответ, восхитился её прекрасным русским именем, поздравил Дмитрия, обладающего таким прелестным, бесценным сокровищем, и включился в общий застольный разговор, который шёл в прежнем «баечном» духе.

Виктор Луи жаловался на чрезмерное обилие датских поздравлений, на которые надо отвечать, и объяснял недоумевающим, что «датские» – это от слова «дата», праздники. Стюарт рассказал не очень понятную историю о каких-то вкусняшках, расширяющих сознание, на которые подседа американская молодёжь, а Харли подтвердил, что в Джорджтаунском университете увлечение сахарной пудрой переросло в проблему, не сравнимую по напряжённости с прежними студенческими выпивками.

– Это в СССР табак да кабак, а у нас телега прогресса умчалась далеко вперёд. У нас теперь живут по триаде «секс, возбудители, рок-н-ролл».

Потом рассказал о новых американских фэшн – «планировании семьи» и желании женщин выйти замуж за пожилых людей.

– Богатые люди старыми не бывают! – воскликнул Стюарт.

Примерно через полчаса Супер распрощался, на выходе перекинувшись несколькими словами с Луи и Степновым, поднявшимся, чтобы проводить его. За ним уехал Виктор Луи, потом стали собираться американцы. Когда уходили Кедровы и Балаев, хозяин дома дружелюбно похлопал Дмитрия по плечу.

– Дима, ты у нас в первый раз...

– Смотри-ка, стихами запел, – перебила Антонина.

Юра отмахнулся, договорил вполне серьёзно:

– Но не в последний. – С намёком повторил: – Да-алеко не в последний.

Как только «Волга» выехала из ворот, Дмитрий задал вопрос, который клочкотал в голове, обжигал кончик языка:

– Гена, что это было?

Балаев рассмеялся:

– А ничего и не было. Просто собралась компания хороших людей со светлыми лицами, они поглядели друг на друга, поболтали ни о чём и разъехались. Пить здесь не пьют, все на машинах. Радость общения, Дима! Сплошной монплеизр.

Кедров понял, что Геннадий шутит, что на самом деле за этой беспечной субботней сходимой у Степновых кроется нечто весьма важное для понимания той круговерти, которая после ухода Брежнева началась не только в верхах, но главное – для него, Кедрова, – в научном мире, точнее, в мире гуманитариев. Он варился в этой среде и, аки зверь в предчувствии землетрясения, ощущал глубинные колебания общественной почвы. Его снедала мысль о том, что во времена разброда и шатаний нельзя пассивно ждать неотвратимых перемен, необходимо участвовать в этих переменах, быть на передовой. В институте он слыл прогрессистом – это «опознание личности» вошло в обиход несколько лет назад, когда при больном Брежневе власть начала постепенно терять твёрдость, наподобие студня, извлечённого из морозилки. Ну и что? Как приспособить свою прогрессивность к делу? Как нащупать точку входа в новую игру? Как угадать время для входа? Чтобы не поспешить, людей не насмешить, но и успеть, не опоздать.

В последнее время Кедрова всерьёз беспокоили эти вполне жизненные заботы, и сегодняшнее странное гостевание неуволимо, отчасти загадочно было связано именно с размышлениями о «точке входа». Он, впрочем, сразу прикинул, что дом Степновых – не его компания. Интересно, даже занимательно, однако в этой среде он будет чувствовать себя неуютно, дальше Польши не ездил. Балаева в Институте считают середняком, особых умственных заслуг за ним не числятся, и теперь ясно, как он компенсирует свою научную неприметность. А Кедров – из подающих надежды, с ним приятельствует сам Карякин, суперпрогрессист, прошедший школу в пражских «Проблемах мира и социализма»... Но всё-таки, всё-таки что это было?

Молчали минут пять, пока не выехали на Минское шоссе.

– Понимаешь ли, Дима, – заговорил Балаев, – в доме Степновых действительно ничего не было, в том смысле, что никаких дебатов или дискуссий, никаких тебе хмельных бесед, никаких многдумий. На эту пустоту ты и обратил внимание – зачем собрались? Ни выпить, ни закусить, ни поплясать, ни делишки какие-никакие обделать. Греху не подвержены. Женщины не декольтируют, одеты дежурно. Сейчас во всех интеллигентских компаниях судачат о замахе Андропова на переустройство общества, а наши сегодняшние просветленцы о возможных переменах – ни гу-гу, никаких коротких замыканий. Благополучные апологеты застоя. Идеальный орднунг. Фейерверк банальностей. Даже странно, да?

– Очень странно. Я бы даже сказал, загадочно.

– А всё очень просто. Дом Степновых – это своего рода градусник, измеряющий температуру общества. Какой бы тебе пример привести?.. По части болезней ничего в голову не идёт... А! Вот, скажем, вернулся космонавт из невесомости, ходить не может, ему необходимо время, чтобы восстановить мышечный тонус. Врачи разрешают сначала сесть, потом встать, затем сделать несколько шагов, наконец, совершать прогулки, а потом можно и на пробежку. Так вот, в доме Степновых легко понять, на какой стадии возвращения к нормальной жизни находится космонавт в данный момент времени. Про сталинские времена не говорю, но скажи, возможны ли были такие посиделки при Хрущёве? Полный суповой набор для судебного процесса над диссидентами! Только в конце брежневской эпохи что-то начало поворачиваться, но всё равно с оглядкой собирались, узким кругом, без разглашений. Наказаний уже не было, однако карьеру могли подпортить. А сегодня у Степновых открытый дом. Знаешь, кого я у них видел? Беллу Ахмадулину! Кагэбэшники, инокоры, – выделил голосом, – сын Вилли Брандта, писатели в гостях у фотокорреспондента кремлёвского пула. Разве допустимо было такое смешение языков и народов ещё лет пять назад? А теперь можно! Маркер времени. Запах времени. Вот что это было, Дима.

– Оч-чень любопытно, – откликнулся Дмитрий.

Наконец подала голос Варя:

– Геннадий, вот вы привели забавный пример с космонавтом, вернувшимся из невесомости. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что сегодня разрешают ему врачи? Сидеть, ходить, бегать?

Балаев рассмеялся:

– Варя, прекрасный вопрос, я бы сказал, глубокий! Но отвечает на него каждый по-своему. А я для уяснения общей диспозиции всё же дам наводку. Космонавт не просто из невесомости вернулся, а пребывал под сильнейшим психологическим давлением длительного одиночества. От такого давления люди тоже приходят в себя постепенно. А общество тем более.

«Сидеть, ходить или бегать, что сейчас разрешено врачами?» – думал Кедров, слушая наводку Балаева и понимая, на что тот намекает.

– Гена, пусть так. Сегодня я посмотрел на твой градусник и кое-что понял. Но зачем инокорам, Феликсу, тебе собираться на этот пустой светский раут под крышей генерала КГБ? Все, кто был сегодня у Степновых – кроме меня и Вари, – прекрасно наслышаны о сегодняшних врачебных советах.

– Ди-има, дорогой, а зачем в «Войне и мире» гости собираются в салоне Анны Павловны Шерер? Чтобы удостоверить свою причастность к кругу избранных. – Сказал серьёзно: – У Степновых никто никаких дел не утрясает. По моим предположениям, дела делаются в доме Луи, куда я ни разу не был зван. Но знаю от Юры, что там случаются журфиксы для инокоров. А визит к Степновым – своего рода заявление о готовности прибыть к Луи... Ладно, ребята, у какого метро вас высадить?

– На «Киевской». Оттуда мы по кольцевой до «Серпуховки», а там пару остановок на троллейбусе по Люсиновской.

Но троллейбуса Кедровы ждать не стали, решили прогуляться пешочком. Под руку, тесно прижавшись друг к другу.

– Что-то ты, Варвара Васильевна, была сегодня не очень многословна. Ну-ка, выкладывай свои впечатления.

Варя помедлила, потом ответила:

– Сложные, Димка, впечатления. Во-первых, о любопытных кухонных разговорах с Антониной. Она женщина заводная, сразу достала пару рюмок, налила водочки и – «Давай за знакомство!» Я, понятно, под благовидным медицинским предлогом ушла в кусты, а она – и свою и мою опрокинула. Меня ни о чём не расспрашивала, зато о себе кое-что, по ассоциации с этими американцами, сказала. Оказывается, в годы войны в Москве, помимо посольства, сидела американская военная миссия, в которой ребята были brave, – это её слова. И даже промурлыкала песенку «Мы парни brave, brave, brave, и чтоб не сглазили подруги нас кудрявые...» Я первый раз слышу, но очень запоминающиеся слова. А то, что те американцы были brave, она знает из личного опыта. Понял?

– Понял, что она на Лубянку работала, а может, и работает. В годы войны крутить с американцами по своей инициативе было невозможно.

– Понимаешь, Дим, среда новая, я предпочла помалкивать, зато очень внимательно слушала застольные реплики, по которым пыталась составить представление об этой публике. Через реплики-то самая суть и вылезает. Кстати, помнишь, разговор зашёл о том, что Москве не так просто будет наладить добрососедство с Западом. А что этот Супер, Вячеслав ответил? Он сказал: «У нас сама природа так распорядилась, что крутые берега рек – западные. Но ничего, взберёмся!» Примечательный ответ. От генерала КГБ!

– Но всё-таки, если итогово, какие впечатления?

Варя снова задумалась, ответила:

– Впечатление одно. Страна может пойти вразнос. Если этот Феликс, американцы, сам Степнов позволяют себе такой разброс мнений при генерале КГБ, выходит, космонавту уже

дозволено делать пробежки. Хлебают новую свободу полными ложками. Как бы не подавиться, не захлебнуться.

Несколько шагов прошли молча.

– Возможно, ты не права. Генерал КГБ через Степнова и Луи ведёт свою игру с иностранными корреспондентами, только и всего.

– Дай-то Бог. Но я так поняла Балаева, что эта игра идёт в доме Луи. А у Степновых бывает много нашего народу. В общем, мне всё это не по душе, тревожно, Дима.

4

Гонки на лафетах завершились с воцарением Горбачёва. Страна, изнывавшая под застойным гнётом слабоумных старцев, встрепенулась, прильнула к телевизорам, увлеклась надеждами на обновление. Миллионы людей с изумлением наблюдали, как новый начальник государства и его очаровательная супруга – не в пример прежним клушам, по недоразумению именуемым первыми леди, – бесстрашно ныряют в восторженную толпу на ленинградских улицах.

Однако, те, кто по долгу службы или роду занятий обитал в предполях верховной власти – пусть не формально, – те, которые по личному расчёту или душевному влечению исподволь готовили пришествие молодого генсека, они уже в день коронации Горбачёва понимали, куда покатится жизнь. Считавшие себя лучшими, отборными, избранными, открыто или негласно пребывавшие на особом попечении власти, они отчётливо представляли себе, что надо делать, чтобы перехватить руль управления у изживших себя старцев. Это была контрэлита, рвавшаяся сменить прежнюю, брежневскую элиту, которая всё ещё обладала контрольным пакетом власти и влияния.

Для Вари этот перелом в жизни страны совпал с глубокими личными переживаниями – она ушла в декрет. Позади были жуткие волнения, связанные с первичным анализом, потом множество медицинских консультаций в клинике 4-го управления Минздрава, куда её определил свёкор. Сейчас визиты к врачам участились и, слава богу, всё шло по графику.

Привыкшая к каждодневной занятости на работе, она в первые дни декрета чувствовала себя неуютно. Вдобавок Дима на пять дней улетел в Варшаву, на региональную конференцию Международной организации труда. Его не впервые командировали на «сходки» МОТ, но на сей раз он получил особо важное задание: купить изысканное приданое для новорожденной Леночки – в цеховской клинике на новейшем медицинском оборудовании определили, что родится девочка, и после недолгих семейных споров для неё уже приготовили имя. Оставшись в квартире одна, Варя маялась мечтами-думами о первом ребёнке, устала от этих бесконечных переживаний и решила развеяться. А как отвлечься, отдохнуть мозгами? С восьмимесячным животом ни в театр, ни в кино не сунешься. Вариант один: в гости к Альбине!

С Альбиной Рябовол они близко сошлись в студенческие годы. Это была любопытная история. После школы Варе предстояло поступать в институт, однако никаких предпочтений у неё не проявилось, и за жизнеустройство дочери взялся отец. Чтобы всё сделать наверняка, он подыскал надёжных знакомых в Московском авиационно-техническом институте – кстати, самый центр, у Петровских ворот, – и Вера с блеском сдала вступительные экзамены. А потом, когда они подружились с Альбиной, выяснилось, что её точно так же пристраивали родители: папа заведовал знаменитой антикварной комиссионкой на Калужской площади и через постоянных клиентов, охотившихся за редкостями с нарочно заниженной ценой, тоже «вышел» на кого-то из МАТИ. И уж совсем смешно стало, когда сокурсник Витька Рябовол, женившийся на Альбине в студенческие годы, раскололся и сказал, что поступил в институт тем же макаром. Его мать заведовала кулинарией в ресторане «Будапешт», у неё отоваривался кто-то из МАТИ – рядом, рукой подать, – и она договорилась о проходном бале для шустрого непоседливого сына. Всё один к одному! Разница обнаружилась только в институте: Варя училась на совесть, а Витькина мама регулярно снабжала кого надо дефицитными продуктами. Да и в комиссионке у папы Альбы раритетов с «интересной» ценой хватило на все пять курсов, включая защиту диплома.

Само собой, всех троих оставили в Москве. Варю, с её идеальной анкетой, распределили в «почтовый ящик», где открылась вакансия материаловеда в одной из групп, работавших над атомным реактором нового типа. Витьку сослали технологом по обслуживанию самолётов в

аэропорт Шереметьево, построенный только что, к Олимпиаде. А Альбину, которая не жаждала инженерить, свекровь умыкнула из-под распределения и пристроила ретушёром в журнал «Советский Союз» – тоже рядом, на Петровке. У заведующей кулинарией ресторана «Будапешт» широкие связи.

Конечно, Альбине пришлось срочно поступить на краткосрочные курсы ретушёров, зато она была очень довольна, ибо оказалась, по её словам, среди безу-мно интересных людей, не в пример узколобым инженерам. Да и на работу ходить всего три раза в неделю.

Сговорившись с Альбиной, Варя прикинула, что домой вернётся на такси, а в ту сторону нужно попросить у Кондрата Егоровича машину – Рябоволы жили на Октябрьском поле, не ближний свет. Но заботливый свёкр, который особо опекал невестку, ушедшую в декрет, твёрдым, не терпящим возражений голосом отрезал:

– Варвара, никаких такси. Будешь полчаса на улице торчать, пока поймаешь, а в дороге может растряссти. Позвони, когда начнёшь собираться домой, я за тобой снова пришлю машину. А сейчас жди у подъезда через двадцать минут.

Альбина, невысокая, пухленькая, чаще всего пребывавшая в весёлом настроении, встретила накрытым столом и кофе с пирожными.

– Ну, подруга, докладывай, как там Леночка. В порядке?

И удостоверившись, что ход нормальный, принялась щебетать о новых, поразительных слухах, которые она почерпнула от безу-мно интересных людей, среди которых теперь крутится.

– Ты не представляешь, что сейчас творится! После того как генсенком сделали Горбачёва, у нас все ждут перемен. Волнение умов чрезвычайное. Журналисты, они народ хваткий, понимающий, что к чему, гадают, куда жизнь повернётся. А повернётся она, Варя, обязательно, даю сто процентов!

Диму тоже беспокоила эта тема, и он неоднократно допрашивал на сей счёт отца. Жаловался, что Кондрат Егорович в оценках перспектив очень скуп, наверное, занял выжидательную позицию. Да и должность, видимо, не позволяет откровенничать с сыном, в Институте известно, кто у Кедрова отец, если Дмитрий будет шибко много знать, мигом сообразят, от кого утечка.

Шумно втягивая горячий кофе, Альба объясняла про свои сто процентов:

– У нас в журнале кто работает? Ад-жу-бей! Зять Никиты Хрущёва, бывший главный редактор «Известий». Связи-то у него наверху сохранились, к нему часто солидные люди заглядывают, он мно-ого чего в курсе. А на той неделе пригласил выступить перед коллективом профессора МГУ Гаврилу Харитоновича Попова, мне сказали, это известный экономист. И он говорил, будто вот-вот объявят об ускорении промышленности, а брежневские времена назовут застойными. После его лекции к нам, в комнату художников, зашёл Алексей Иванович – это Аджубей – и сказал, о чём они с Поповым тет-а-тет общались. Среди экономистов много недовольных Госпланом, – это, мол, отпавший улей, так и сказал, – он изжил себя, полёг в боях за светлое будущее, и надо переходить на новую систему хозяйствования. Нужна то ли бюджетная терапия, то ли бюджетная хирургия, он, этот Попов, пока сам не знает. Но с Госпланом вроде всё ясно, утилизация, на перегной. Да, да, так, со слов Алексея Иваныча, и сказал. А больше всего, знаешь, Варька, что меня удивило? Попов говорит, что надо переходить к идеологии личного успеха, вот оно как! Представляешь, какие пироги теперь готовятся выпекать?

Схватила помаду, зачем-то лежавшую на столе, быстро, без зеркала, по памяти подкрасила губы.

– Привычка! В журнале каждую минуту надо быть комильфо, манерничать приходится, публика у нас особая. Чекистов немало.

– Чекистов? – вытаращила глаза Варя.

– Ну, у кого чеки в «Берёзку». – Хихикнула. – А ты что думала? Снова вернулась к журнальным сплетням.

– Когда Аджубей ушел, мне объяснили, что он тесно с учёными связан, часто ездил в новосибирский академгородок. А когда сняли Хрущёва, Суслов сказал: «У нас что, Аджубей – министр иностранных дел на общественных началах?» И его вышибли из газеты. Алексей Иванович ведь и в Америке был, с президентом Кеннеди встречался. Он во внешней политике всё соображает. А на той неделе мы, человек десять, ходили обедать в ресторан «Центральный», на Горького, минут пять ходьбы. Без разносолов, без выпивки – просто пообедать. Очередной номер журнала сдали и пошли отдохнуть после запарки. А у нас есть фотокорреспондент Юрий Васильевич Степнов, который с Хрущёвым и Брежневым по всему миру колесил. Он, говорят, тоже с большими связями и тоже много знает. И оба они, Аджубей и Степнов, говорят, что ждут нас большие перемены, очень большие, что фон жизни изменится, эпоха уходит стахановскими темпами. Её будут – в щебень! Я была в шоке и ахе. Большой, Варя, переполох готовится. И если бомбанёт, кто под раздачу попадёт, неведомо. Мол, с историческим маскарадом пора кончать. Но я считаю, всё нормуль будет. А ещё они много рассказывают про старые годы. Мы ведь с тобой, Варя, ничегошеньки из прошлых лет не знаем, а я, бел свет, сейчас балдею от интересных узнаваний. Отель «Центральный» раньше «Люксом» назывался, и там жили Есенин и... Стендаль. Да-а, Стендаль! В 1812 году, как интендант французской армии. Век живи, век учись. Э-эх, шоколадно живём, Варька, всё так ошеломительно!

Альба ворковала без удержу, исправно воспроизводя услышанное в новой для неё среде, не вдумываясь в суть происходящего, наслаждаясь невиданным ранее всезнанием. Варя решила не огорчать её тем, что знакома с Юрой Степновым, хотя сама удивилась изрядно. До чего тесен мир! И постаралась кое-что для себя выяснить:

– Ты говоришь, этот Степнов с Хрущёвым и Брежневым ездил? А сейчас, наверное, с Горбачёвым полетит?

– Ой! В том-то вся проблема. Новый журналистский пул только-только сколачивают, неизвестно, включат ли в него Юрия Васильевича. По идее должны, как-никак журнал «Советский Союз»! Но Степнов всё равно переживает, и что мне, Варя, нравится в нём, этого не скрывает. И знает, что в скором времени у Горбачёва будет много, очень много зарубежных визитов. Говорит, ни у кого не было столько, сколько будет у Горбачёва. Вообще, говорит, международные дела скоро выйдут на первый план. Триумфально.

Исчерпав текущие восторги, Альбина спустилась на грешную землю. Сперва пожаловалась на Витьку, которому работа в Шереметьево не в радость, отчего у него вечно плохое настроение. Потом стали перебирать фамилии сокурсников, обсуждая, кто и как устроился. Под конец надумали, что на пятилетие окончания института обязательно надо собраться всей группой и погудеть в каком-нибудь ресторане. Обзвон Альба взяла на себя.

5

Кедров вспоминал свою командировку в Томск летом 1982 года, ещё при Брежнев. Напряжённых дел в тот раз не набежало, но дельце одно в родных краях всё-таки было, и важное: предстоял разговор с секретарём обкома Лигачёвым. С Кузьмичём они были в дружбе, когда-то в ЦК их аппаратный вес был равным: Егора дважды, в разные сроки, назначали замзавом отдела пропаганды. Но, понятно, в 82-м Кондрат думать не думал, что через год Андропов вызовет Лигачёва в Москву, и Егор станет для Кедрова прямым начальником, а Горбачёв сразу после воцарения сделает его членом Политбюро. Первый случай в партийной иерархии, когда член ПБ перешагнул через должность кандидата и сразу стал вторым человеком в партии.

Обычно в Томске Кондрат навещал старого знакомого директора «Рассвета» Степана Николаевича Лещеню, по-приятельски просто Степана. Они познакомились в шестидесятых, когда в одну из командировок Кедров по случаю заскочил в Коларово, старинное сибирское село, в прошлом ямщицкое, разбойное, уютно примостившееся на берегу Томи. Редкой красоты здесь места! Последний вздох, последний всплеск Кузнецкого Ала-Тау – за Томью начинается равнина. В тот год коларовский клуб избрали для районного слёта передовиков – обычное занятие, когда народ сидит на зимних квартирах. Но сам слёт был не стандартным, потому и посоветовали московскому гостю наведаться в совхоз.

Никаких трибун. Нет и привычных рядов с деревянными креслами, в которых удобно посапывать во время казённых выступлений. По периметру зала расставлены столы с фруктами и пирожными, с бутербродами, а над ними возвышался, поистине царствовал огромный, начищенный до зеркального блеска сорокавёдерный самовар. Человек тридцать, почти все в тот раз выступили, такого обилия речей не выдержала бы ни одна традиционная аудитория, утомили бы. А тут, прихлёбывая горячий чаёк, неторопливо ошкуривая апельсины, народ заинтересованно делился друг с другом радостями-заботами.

Придумал эту свадьбу Лещеня, с которым Кондрат в тот же вечер сошёлся на «ты» в его доме, за рюмкой горькой. Жизнь показала, что сошёлся навсегда, очень уж по душе был ему этот мощный, забористый земляк с витиеватой судьбой.

Его отец выбрал среднюю Обь в 22-м году, когда малоземельные белорусские крестьяне во все концы слали ходоков в поисках пригодных для пахоты угодий. Несколько лет кулижничал, корчуя палами малорослую тайгу, потом сеял на росчистях зерно. И вроде бы начала новая жизнь ладиться, да в 38-м умерла жена, вскоре, надорвавшись тяготами, помер и сам Лещеня. Восемь детей остались сиротами, а тут – война: четыре старших сына погибли на фронте, в военной суматохе потерялись три сестры, и поскрёбывшись Степан остался в мире один-одинёшенек. Судьба того поколения... По случаю забросило его в Коломинские гривы, где подрадили сеять вручную. А наука непростая: приставной шаг должен быть мерный, ладонь положено пропеллером поворачивать, чтоб зерно с неё чуть вверх, вразброс летело, а не пятном ложилось. Но тут уж память предков сказала, да и было Степану у кого сызмальства посевному делу учиться: отец – потомственный землепашец. Вот и оценили парня, прижился, семью завёл.

А Коломинские гривы всего-то в двадцати верстах от Сухого лога, выходит, Кедров с Лещеней совсем земляки! Эта удивительная случайность сдружила их ещё крепче, всё было понятно Кондрату: во вдовых сибирских деревнях из мужиков только деды остались, потому Степана уже в двадцать лет назначили председателем колхоза. Но почему он там не остался, почему бросил землеробить, занявшись, как он говорил, живностью, Лещеня умалчивал. Кедров чувствовал, была здесь какая-то тайна, но не расспрашивал, у сибиряков расспросы не приняты, нельзя неволить рассказчика.

Зато «по живности» Степан стал великим спецом. После того заседания вокруг сорокавёдерного самовара, после нескольких рюмок с отменной домашней заправкой горячо говорил:

– Помнишь, Артюхов выступал? Чернявый, шепелявил. Смелый парень, громко отчитался. Но посмотрим, что этот болт без нарезки будет через пару лет кукарекать. У нас теперь, как у Гамлета: плюсуем или минусуем? Разок сминусуешь, никакие заслуги не спасут – всего вам недоброго. Вот Воскобойников из «Красных зорь» и придумал. Позапрошлый год так сильно посадил хозяйство, что его теперь лет пять поднимать. Молоко! Оно времени требует... И уже ходит в передовиках, устойчиво плюсует. У каждого чуда своя причуда! Понял, какую кашу наши местные заварили? Ты скажи там своим, на верхах.

Сразу после Хрущёва, когда слегка повеселело, Степан первым порушил стойла и отказался от привязи. У-у, что тогда творилось! Эпопея! Кедров помнил, в те годы о свободном содержании скота аж на секретариате ЦК говорили – о том, что бурёнка, лишившись привязи и ласковой клички, сразу перешагнёт из прошлого в будущее. В животноводстве спор с «безпривязчиками» был сродни громкой целинной драке между плугом и безответальной вспашкой.

А лет через десять Степан – снова одним из первых! – взялся за промышленное свиноводство. Открывал перед Кедровым тогдашние новшества:

– Свинья! Да кто ж это придумал, что она всеядна? Культурная свинья, она в пище разборчива, несъедобицу не возьмёт. Никогда под себя гадить не станет, где спит, там всегда чисто. А воспроизводство? Три месяца, три недели, три дня – и на тебе десять поросят за один опорос. Ни солнца, ни выгула не требует, в бетонных коробках отлично вес набирает. Хочу «дюрок» завести – отличный бекон. От свињи всё в дело идёт, кроме визга. Одна беда: не дай бог свиную чуму подхватить, пожар эпизотии – и весь свинокомплекс в настоящий костёр.

Ох уж этот Лещеня, вечно был впереди всех! В другой раз, как всегда за умеренной приятельской рюмкой, обогащал Кондрата новыми знаниями:

– А цыплёнок? Двадцать один день – и проклюнулся. Ещё два с половиной месяца – магазинный бройлер. А держать пять месяцев – курица, яйцо несёт.

Да-а, жаль Степана, хороший был мужик, ему жить да жить, шестидесяти не было, раньше времени умер. Болел-то он долго, Кедров однажды уложил его в московский онкологический центр, однако медицина ещё не умеет эту болезнь исправлять.

А на смену пришёл другой Лещеня – Матвей Степанович, по смерти отца ставший директором совхоза. Пришёл не без руки Кедрова, в 82-м, Кондрат поручился за него перед Лигачёвым, ради этого он в прошлый раз и отправился в Томск. Тот интересный разговор с Егором он вспоминал в 87-м, когда снова летел на малую родину. Боже, как изменилась жизнь за эти годы!

В Томске первым делом отправился к молодому Лещене.

Матвей жил в новом доме. По отцовскому наказу велено ему было оставить коренной дом за матерью – она ещё не старуха, мало ли как свою жизнь дальше устроит. Вот такой был Лещеня: уходя, продолжал заботиться. В тот поминальный вечер с Матвеем Кондрат много нового услышал о старом друге, сын и тайну отцовскую приоткрыл.

Оказывается, в первый год председательства вызрела у Лещени замечательная семенная пшеница, редкость для этих мест. Чистенькая, без васильковой сини и белых ромашковых пятен. Словно изнутри светился налитый колос. Степан ходил гордый, и когда хлеба достигли жатной спелости, решил высший класс показать: не стал зажимать потихоньку, как надо бы, пошёл на раздельный способ. Чтобы в валках хлеб дозрел до наилучших кондиций, свалил наземь сразу всё поле. А назавтра пошли злые житошные дожди и лили пять суток. Валки стали прорастать, только треть урожая удалось с превеликими трудами наскрести. После того случая Лещеня заболел и вскоре уехал из Грив.

– Вот такая, Кондрат Егорович, с отцом была история. Грустная песня в весёлом застолье, – рассказывал Матвей, которого Кедров ещё мальцом знал. – Эта боль до самой смерти его мучила, тайно переживал, только одному человеку по случаю открылся. Вы Бедулю знаете?

– Лично не знаком, но кто же о Бедуле не слышал? Дважды Герой соцтруда! Мне недавно Марков сказал, что к Бедуле даже Белла Ахмадулина приезжала и будто бы стихотворение о нём написала.

– Так вот, отец по приглашению Бедули однажды летал в Белоруссию, в его знаменитый колхоз. Ну, сами понимаете, сошлись два белоруса, два матёрых сельхозника, есть за что рюмку поднять. А потом пошли за жизнь, откровенно. Отец размяк и раскололся. Но об этом не жалел, говорил, что очень они с Бедулей друг друга поняли.

Когда отпамятовали, Матвей коротко отчитался перед высоким гостем за текущие дела. Жаловался: этот год из-за поздней весны три выплода комаров совпали, и таёжный гнус так заедает, что лоси-зайцы на трассу выскакивают, чтобы очухаться. А жизнь? Встать пораньше да шагнуть подальше – вот она, наша жизнь, больше ничего и нет.

Кедров слушал молча, потом сказал:

– По делам ты отцовское имя не посрамил и меня не подвёл. Но скажи-ка, Лещеня-младший, ты всегда такой... без подъёма? Мы с тобой первый раз без отца сидим, из отца энергия ключом била. Породой ты вроде в него, тоже мощный, а вот нравом, характером... Пока я тебя ещё не уразумел.

Матвей невесело улыбнулся, прикусил драпировку – у Лещеней они всегда на столе.

– По части нрава не мне о себе судить. А что без подъёма... Я сам хотел с вами говорить, момента ждал... Отец перед смертью сказал: если что, за советом-помощью иди к Кондрату Егоровичу, и – откровенно. Я по правде и скажу... Понимаете, Кондрат Егорович, не очень мне дела сельские нравятся. Перестройка, ускорение... Может, где-то – да. Может, только у нас вместо ускорения замедление? Я газеты читаю, телевизор-радио смотрю-слушаю, там волна за личные подворья. Хорошее дело, да в том засада, что эта мода другим концом по колхозам-совхозам бьёт. Не знаю, где как, а у нас... Такая у меня мысль, будто не нужны мы, будто о нас уже ноги вытирают. На директорском уровне это сразу в глаз-ухо бьёт. Прямоезжие дороги наши замуравели. Одно дело критика, пусть окрик, даже ругань, – тут мы умеем, набычимся и пошли вкалывать. А коли-ежели от обкома никакой инструктивности, когда он ни рыба ни мясо, когда даже не костерят, не цыкнут, не знаешь, что и думать. Меня по новой моде жить учат, а я-то по старой вере живу. Вот и вышло: раньше с огнём всё делал, а теперь на сердце тревога. Словно на обочине жизни тлею, двоение мыслей. И неизвестно, чего ждать. Я в партию нытиков не вступал, а всё же не по себе. – Грустно спросил: – Что мы перестраиваем, Кондрат Егорович?

Кедрова словно током ударило. Таёжный парень, кроме аграрного дела, жизни не знает, в государственных делах ребячески наивен, а так ясно сформулировал общие тревоги, что оторопь берёт. «Что мы перестраиваем, Кондрат?» – мысленно, самому себе повторил он вопрос Матвея. А действительно – что? Ускорить экономику? Но тут и перестраиваться не надо – поприжать бюрократов, вдарить по коррупции, планы иначе верстать, да мало ли что ещё надо сделать для ускорения. Спецам виднее. А этот парень прав, на селе везде пробуксовка, не только в Томске. Грандиозный урожай 85 года не взяли... Внешнюю политику перестраиваем? Это да, тут лихой разворот, но в нашу ли пользу? На этот счёт Кедров сам был спецом и с опаской наблюдал, как братание с Западом сказывается, как ни странно, на быстром упадке оборонки. Цифры не озвучивают, но цеховской номенклатуре всё известно. Верно сказал Матвей – парень-то в отца, толковый, – что теперь обком по колхозам-совхозам ни рыба ни мясо. А ЦК теперь по оборонке ни рыба ни мясо, словно отстранился. А оборонка – столп внешней политики, задачи перед оборонкой дипломатия ставит. Та-ак, что ещё? Господи, да вот же в чём дело!

Вдруг с предельной ясностью открылось Кедрову то, о чём полгода зудело в голове. На январском Пленуме ЦК затеяли политическую перестройку, только она теперь на языке. Про ускорение экономики забыли, Пленум по научно-техническому прогрессу – сколько было шуму! – не провели. Да-а, много набегает тяжёлых вопросов... Он, человек строгого мышле-

ния, недавно поймал себя на странном, необычном умствовании: причудилось, будто за спиной власти прячется неведомый коварный недоброжелатель, который только и ждёт момента, чтобы оттолкнуть власть в сторону, скакнуть вперёд и крушить всё что ни попадя. А в руках у него немецкий пулемёт-автомат шмайссер, который с войны был для Кондрата символом супостата.

Посмотрел внимательно на Матвея. Крепкий красивый парень, уже мужик, спокойное лицо, глаза ясные, взгляд твёрдый. С таких только богатырей писать. Вучетич памятник в Трептов-парке с такого и лепил, рассказывал, как искал натуру. Кедров решил подбодрить:

– Что мы перестраиваем?.. Это разговор долгий, не сейчасный. Отставить скулёж! В портки-то не пускай... Я тебе хорошее правило напому, веками проверенное. Глядя в прошлое, сними шляпу, а глядя в будущее, засучи рукава.

– Ясно, что ничего не ясно, Кондрат Егорович, – вздохнул Матвей. – Но я завет отца помню: если что, Кондрат Егорычу в ноги пади.

Понятливый парень. В ноги пади... Кедров смекнул, что Матвей только сотую часть своих тревог выложил, на самом-то деле в воздухе пахнет грозой.

Дурные предчувствия подтвердились в Ново-Кусково, куда, тоже по традиции, завернул Кедров. Там, на родине председателя Союза писателей Маркова, установили его бюст – по статусу дважды Героя соцтруда. С Марковым они сошлись на «почве» томского землячества, и после поездок в Ново-Кусково Кондрат передавал ему приветы. В 78-м Георгий Мокеевич пожертвовал Ленинскую премию на строительство здесь роскошной библиотеки, земляки держали с ним плотную связь. Директор совхоза Гриневич, «обедавший» почётного гостя, – фронтовик с красной ленточкой тяжёлого ранения, – в отличие от Лещени, не дипломатничал, напрямую излагал о нынешних сельских невзгодах, жаловался:

– Жизнь настала непонятная. На сеновал со свечой велят лезть, а в погреб – без фонаря. А это дело такое, можно и дом сжечь, и ноги переломать. Но здесь свергателей колхозов унять некому. Вы уж доложите о наших сомнениях дважды Герою. Он на самом верху, пусть знает, что идёт у нас девальвация всего и вся. Глядишь, где-нибудь словечко и молвит. Егору Кузьмичу пусть шепнёт, что пошатнулись мы после него. Лигачёв теперь в большой силе.

Были на Томской земле встречи и с другими земляками, не такие радостные, как прежде, – повсюду глухой ропот, люди земледельческого звания в тревоге. В результате в Москву он вернулся не просто в невесёлом настроении, а с сокрушением сердечным. В самолёте снова вспомнил Вучетича. Евгений как-то рассказал примечательную историю. При Хрущёве подняли голову художники-абстракционисты, и Вучетич позвонил ближайшему другу маршалу Чуйкову: «Василий Иванович, наших быют!» А через месяц на выставке в Манеже Никита эти поднятые головы, можно сказать, отсёк – иносказательно, конечно. Вот как в ту пору дела делались. А сейчас? Лещеня говорит: «Наших быют». И чем он, Кедров, может помочь? Ну, передаст томские тревоги Лигачёву. А дальше что? Кузьмич не всесилен, у Горбачёва целая команда политических перестройщиков.

А про девальвацию всего и вся Гриневич интересно сказал.

6

Пятничным вечером позвонил Егор:

– Боря, в воскресенье свободен?

В последние годы Егор звонил редко, и если предложил встречу, значит, вопрос серьёзный. Впрочем, для старого друга Грушин был свободен всегда, и они сговорились встретиться на Миусской, в сквере у Дворца пионеров, там спокойно, почти безлюдно.

С Егором Яковлевым они были одноклассники. За одной партой не сидели, тесную дружбу не водили, но известно, школьные годы всю жизнь в памяти. К тому же ещё в шестидесятых они вместе поселились в «Румянцевской деревне» – по разнарядке ЦК КПСС работали в Праге, в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». И там, взбудораженные пьянящим воздухом свободы мнений и дискуссии, вдобавок сплочённые взаимодоверием юных лет, сошлись очень плотно. Главный редактор академик Румянцев создал в неподцензурном журнале немыслимую для Москвы творческую атмосферу, позволяя обсуждать запретные в ту пору темы, и это априори предполагало единомыслие. Кто и почему назвал здание бывшей духовной семинарии на улице Рабиндраната Тагора, где размещалась редакция, «деревней», было неизвестно, однако название прижилось. А сама пражская жизнь была восхитительной. Сколько раз в компании с западными друзьями свободомыслящие «советик» устраивали «Эраунд о, клок» по Праге! Когда поздно вечером закрывались последние пивные, уже открывались первые утренние, и приятельское общение можно было продолжить. Побочным итогом этих многочисленных «эраундов» стала книга Грушина с забавным перефразом «Истина в пиве», в которой через пивной фольклор автор пытался постичь массовое сознание пражан.

В Москве пути Яковлева и Грушина разошлись лишь в том смысле, что историк Яковлев занялся карьерной политикой, жил злобой дня, а философ Грушин с головой нырнул в науку, став главным в стране по части изучения общественного мнения – ещё в конце пятидесятых проводил в «Комсомолке» масштабные соцопросы, придумав неформальный Институт мнений.

Как нередко бывает, импульсом для «учреждения» первого в стране центра по изучению общественных настроений послужили случайные и отчасти анекдотические обстоятельства. Кто-то где-то рассказал Грушину притчу о том, как в деревне собирали бочку водки для умиротворения земского начальства, разверстав взносы по ведру с дома. В итоге бочка оказалась наполненной чистой колодезной водой, ибо каждый вноситель посчитал, что его обман безнаказанно утонет в общем котле. Об этом парадоксе социальной психологии Грушин говорил с весёлым смехом и то ли в шутку, то ли всерьёз утверждал, что именно эта притча навела его на мысль проводить через газету соцопросы, которые могут помочь в понимании массового сознания.

В 1989 году Грушин бешено крутился, создавая первое в стране частное агентство изучения общественного мнения «Vox Populi». Но бывшие одноклассники оставались единомышленниками, могли позволить себе общение с высшим уровнем откровенности, мгновенно откликались на дружеский зов.

И в мае, накануне Первого съезда народных депутатов, Егор посчитал полезным кое о чём посоветоваться с Борей, которого ценил за острый ум и нестандартное мышление.

– Старик, есть вопрос. Ты понимаешь, что для перестройки съезд станет событием решающим. Ситуация на изломе. Задача в том, чтобы перетащить центр тяжести власти из ЦК к президенту. – Увидев вскинутые брови Грушина, пояснил: – Да, да, будем готовить почву, чтобы учредить пост президента, есть такие планы. Для центроверха, Михаила Сергеевича. Но мы в меньшинстве и, как говорится, протокол с этикетом не путаем, понимаем, что вульгарных

возражателей будет кратно больше. Однако есть возможность раскачать общественное мнение, через прямые телетрансляции предъявить людям свою точку зрения, завоевать их доверие.

Быстрый, реактивный Грушин всё понимал с полуслова, умел сразу схватывать суть дела.

– Так в чём проблема, Егор?

– В чём проблема! В микрофоне проблема, Боря, в микрофоне.

На сей раз озабоченность Яковлева была неясна. После выборов народных депутатов к Грушину обращались за консультацией по поводу неформальных опросов: каким способом лучше всего выявить настроения нардепов? Не умозрения – они известны, а именно настроения. Как они намерены вести себя на съезде? И Борис знал, что съезд будет горячим, поднагрев на первых альтернативных выборах, депутаты-горлохваты жаждут высказаться, все рвутся к микрофону. Но понятно, с трибуны выступят единицы. В чём же дело?

– Боря, сюжет съезда уже просматривается. Обсуждать будем практически каждый вопрос, и в дебатах примут участие десятки, сотни делегатов. – Опять вскинутые брови Грушина и очередные пояснения. – Каким образом? Очень просто. В зале установят микрофоны для кратких мнений. Получается так: кто первым к микрофону встал, того и тапки. Но теорию первой информации никто не отменял, это раз. Во-вторых, представь себе, что за какую-то резолюцию десять выступлений от микрофона «за», а два «против», или наоборот. Как будет голосовать зал? Между тем, мы в меньшинстве, прорвись-ка к микрофону со своей точкой зрения, которая будет сильно отличаться от позиции депутатов с мест. А в песок гвоздей не заколотишь. Короче говоря, безграничные надежды упираются в ограниченные возможности. Ты же про выборы всё понимаешь. Меня, например, избрали от союза кинематографистов. Большинство наших, в том числе твоя Заславская, прошли от Академии наук, от общественных организаций. Ты же знаешь, сколько усилий потрачено, чтобы пробить для нас эту формулу выборов.

– Что дальше, Егор?

– Есть главная трудность. Депутаты с мест будут сидеть кучно, делегациями. А прогрессивное меньшинство разбросано по залу, внутри делегаций. И представь себе следующее: возникает необходимость срочно заявить мнение по острому вопросу. Как быть? Партийные доктринёры, руководители делегаций шепнут своим, каких позиций держаться, а нам как своих оповещать? Головоломка, Боря. А регулировать наши внутренние процедурные вопросы тихо, без огласки дирижировать велено мне. И тут как в первую брачную ночь: надо самому стараться, никому не поручишь. Чувствую, что диктатуре большинства надо противопоставить принцип Парето, что необходим какой-то хитрый приём, что какие-то героические средства понадобятся, но что именно, в толк взять не могу.

– Ну, твоя главная трудность, она вопрос решаемый. И легко. – У Грушина голова светлая, мысль порывистая, это Яковлев знал, потому и решил с ним посоветоваться. – В общем виде выход из твоих затруднений выглядит так. Надо придумать сигнал, по которому твои опорные люди быстренько выскочат из зала заседаний, чтобы собраться в условленном месте и получить указания. А вот с микрофонами сложнее. Надо понимать конкретную ситуацию, какая возникнет на съезде. Но тут я плаваю, не в теме.

У Яковлева голова тоже работала отменно, к тому же, в отличие от Грушина, он был человеком «прямого действия», сугубым практиком, и мигом сообразил, что надо делать, чтобы «общие виды» философа наполнить конкретным содержанием. Вдобавок этот вариант позволял решить и вопрос с микрофонами.

Они неторопливо прогуливались по аллеям просторного сквера, и когда Егора осенило, он дружески похлопал друга по спине.

– Не сомневался, что дашь мне подсказку.

Навстречу шла молодая женщина с детской коляской. Они разминулись, и Яковлев не без патетики сказал:

– Этот младенец будет жить в другой, свободной стране. И никогда не узнает, что в грудном возрасте по случаю встретился с людьми, которые преобразят его жизнь... – И уж совсем с пафосом негромко воскликнул: – Боря, поверь, люди 47 года становятся интеллектуальной элитой, я знаю, что говорю. Настоящая жара только идёт.

В философских кругах «людьми 47 года» называли первое послевоенное поколение студентов филфака МГУ. По возрасту это поколение не воевало и со страстью пользовалось плодами долгожданной мирной жизни. Как раз в тот год неизвестно, какими путями божьими вышла в свет книга Александрова «История западноевропейской философии». Именно после знаменитой дискуссии по этой книге Сталин объявил о борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Но для тогдашних первокурсников филфака монография Александрова стала библией, с неё началась их бурная и опасная студенческая жизнь, полная неуставных «разговорчиков в строю», а вернее, жизнь на краю пропасти – за три года было четыре ареста. Между тем, на фоне этих «разговорчиков», отражавших настроения будущих философов, из факультетских коридоров убрали бюсты Платона, Канта, Гегеля, что сигнализировало об отречении от классической философии.

Остроумный, яркий Грушин окрестил своё поколение философов «диалектическими станковистами». После 1956 года, когда стало дозволенным подшучивать над издержками прошлого, отвечая на недоумённые вопросы по поводу странного самоназвания, Грушин смеялся:

– Вы что, «Золотого телёнка» не читали? Помните, художники-артельщики, назвавшие себя станковистами, рисовали не маслом, а гайками, фасолью и горохом? С точки зрения сталинской философии мы тоже были станковистами.

Как и следовало ожидать, все студенты «47 года» после защиты дипломов бросились готовить диссертации. Но не тут-то было. Последним, в 54-м чудом проскочил Александр Зиновьев, который был старше, воевал. А Грушина провалили без дискуссии, выдав волчий билет, ни в один из академических институтов его не брали. Как жить, как кормить семью? По его шутливым словам, с точки зрения грузчика, он, могучий дистрофик, никуда не годился – ростом невелик, шуплый. Но подвернулся случай, и, опять же по «Золотому телёнку», ему пришлось «переквалифицироваться в управдомы», временно стать журналистом – возглавил отдел пропаганды в «Комсомолке», где в литгруппе отдела писем работала жена, красавица Наталья Карцева. И он первым в стране начал через газету проводить опросы общественного мнения.

Но к «людям 47 года» относили не только сокурсников Грушина, а также тех, кто поступил в МГУ чуть позже. Все они, независимо от возраста, составляли один круг «станковистов», создав под крышей филфака особую среду, рождавшую яркие имена. И острая загадка истории заключается в том, каким образом «люди 47 года» впоследствии, через много лет после студенческой скамьи, вновь собрались вместе – в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Как это произошло? Случайно? По воле Божьей? Или же вела их чья-то закулисная рука, наподобие чертовщины Воланда, чётко осознававшая свой замысел?

Загадка очень острая, потому что именно пассионариям «47 года», которые в период оттепели, по примеру предков столетней давности, нарекли себя шестидесятниками, спустя сорок лет суждено было стать «прорывным поколением» и сыграть особую роль в истории, пустив ко дну КПСС. А ведь сотрудников пражского журнала «Проблемы мира и социализма» подбирал международный отдел ЦК КПСС, более того, многие из них после «Проблем» работали в ЦК, да на солидных должностях. И куратором, более того, покровителем журнала был Анатолий Черняев, впоследствии главный помощник Горбачёва, который, кстати, учился в МГУ в тот же послевоенный период и через сорок лет оказался среди тех, кто предназначил партию к сносу.

Для случайности здесь переплелось слишком много обстоятельств и судеб. В буквальном смысле загадка XX века.

Разумеется, никто из «станковистов» этой загадкой не маялся, у них были свои судьбы. Но на разных этапах советской истории их чудодейственно спланировало нечто то ли высшее, то ли случайное, а возможно, и рукотворное. Сначала, ещё в пятидесятые, прославилась знаменитая «Четвёрка», под этим названием и вошедшая в историю, – Грушин, Зиновьев, Мамардашвили и Щедровицкий, имена в философском сообществе легендарные. Каждый шёл по жизни со своим девизом. Грушин, работавший над теорией массового сознания, с первых философских лет утверждал, что западная демократия – это защита прав человека, и советская демократия должна обеспечивать интересы меньшинства. Мамардашвили говорил: «Мы не воюем на чужих войнах, мы ведём свою». Зиновьев создал знаменитый логический кружок, который под началом Щедровицкого превратился в методологический и в 1989 году подспудно, без публичного провозглашения цели, готовил распад СССР.

В середине 70-х первое послевоенное философское поколение возглавило когорту своих учеников, а также смежников из других гуманитарных дисциплин, достигло зрелости и определилось с мировоззренческой позицией в несвободной стране, – таким в среде «людей 47 года» считался Советский Союз. Они отнюдь не были диссидентами и в большинстве своём не разделяли радикальных взглядов профессиональных «борцов с рыжимом». Они даже вопрекистами не были, и уж тем более фрондой. Но они были убеждёнными филантропами. У них было своё понятийное поле, свой карнавал смыслов, свои умозрительные парады достоинств. Они увлечённо занимались любимым делом, получив негласное разрешение на обустройство в обособленном духовном анклавном прогрессивной мысли, а возможно, и на плацдарме, предназначенном для высадки основных сил. В «Проблемах» у них был спецдопуск для чтения западной философской литературы. Взлелеянные на монографии Александра, они широко использовали возможность беспрепятственно общаться в Праге с западными сверстниками, которые посвятили их в суть западных философских споров. В прошлом записные марксисты, как на подбор члены КПСС, Маркса они теперь цитировали выборочно, предпочитая «Мятежный дух погряз в дерьме субстанций». У них были широкие знакомства в западных интеллектуальных кругах, в частности, Мамардашвили лично знал Сартра и Маркузе, поддерживал связи с еврокоммунистами. Некоторые из них по заданию ЦК были в Сорбонне 1968 года, где заразились главным девизом студенческих волнений – «Требуйте невозможного!» И вернувшись в Москву, как нечто забавное, рассказывали, что бурные протестанты раскрошили уникальный музейный экспонат – куб знаменитого русского докучаевского чернозёма со стороны в два метра. Они с энтузиазмом восприняли Хельсинкский Акт, понимая, что почём, угадывая, что он раскрывает перед ними новые возможности для общения с зарубежными коллегами. После пражских штудий они считали, что русская философия невозможна вне западной философии. Они не критично относились к Западу и восторженно оценили теорию конвергенции академика Сахарова.

У них были грандиозные амбиции и своя шкала ценностей. Они были преисполнены верой в своё блестящее, общеевропейское будущее. Они всем сердцем восприняли концепцию Грамши о «культурном ядре», о культурной гегемонии малых групп, а вместе с ней впитали в себя и западный культурный код. Они рассчитывали на феерический научный взлёт и жаждали купаться в общественных овациях, их многочисленные статьи в прессе походили на эпистолы, становясь своего рода посланиями обществу. Разумеется, все они были гениями разговорного жанра и чемпионами словесных состязаний. Они считали себя лицом поколения и претендовали на то, чтобы стать интеллектуальной элитой страны.

Это была мощная, сплочённая единомыслием, идейными восторгами, взаимными интересами и личными знакомствами группа пассионариев. В этой группе каждый успешно вспахивал свой научный надел, но вместе, сообща они тяготились бездельем, пребывая в уверен-

ности, что в обозримом завтра и при определённых обстоятельствах будут востребованы для великих дел и исполнят сословный долг передовой интеллигенции.

Эта группа единомышленников не могла оставаться «бесхозной».

И её оприходовали.

Вскоре она пришлась и ко дню и ко двору: пассионариям прозападной выделки выдали мандаты боевиков перестройки, которым предстояло, покончив с коммунизмом, наставить историческую Россию на путь истинный, приведя её в райские кущи западной цивилизации.

7

О том, что партию готовят к закланию, Кедров начал догадываться ещё в 88 году. Опытный аппаратчик, кадровик, он улавливал пёстрые дуновения, исходившие с пятого и шестого этажей Первого подъезда и, повторяя чей-то забавный, но точный каламбур, считал их либо безобразием чрезмерного разнообразия, либо разнообразием нелепых безобразий. В любом случае, этот непривычный разнобой говорил о большом беспорядке. К тому же начались странные перемены в, казалось, незыблемом цеховском распорядке.

Связь международных отделов ЦК с зарубежными посольствами всегда шла через закрытые шифры, в специальной комнате для чтения, с записями в пронумерованных тетрадах. Но в 88-м дипломатическую шифропереписку запретили, в партаппарат уже не поступала информация по спецканалам. Суперсекретный архив в Институте марксизма-ленинизма стал недоступен абсолютно. Смысл этих нововведений Кондрату был ясен: партийный штаб аккуратно отодвигали на обочину новой, переменчивой жизни.

Вдобавок Кедрову стали чаще названивать секретари обкомов, осторожно давая понять: что-то идёт не так. Разумеется, не Кедров рекомендовал их на «царствование», однако он готовил предварительные документы, запрашивал расширенные объективки из КГБ... Ну, там много чего надо основательно изучить, прежде чем дело дойдёт до утверждения на Секретариате ЦК. По ходу этой канцелярщины Кондрат с некоторыми «абитуриентами» сблизился, и теперь они иносказательно жаловались ему на обнаглевших неформалов, хотя Кедров понимал, что цель звонков иная: получить намёк относительно того, какой линии держаться. В их областном представлении «на столе» у главного по кадрам со Старой площади лежит дорожная карта грядущих событий.

Но Кедров сам пребывал в смутных чувствах. В какой-то ненастный по новостям день шевельнулась мысль пойти к Кузьмичу, дать информацию о звонках с мест. Но сразу осадил себя: во-первых, с пустяками к начальству не ходят, во-вторых, не след уподобляться областным секретарям, подспудная цель похода – не сказать, а услышать. Однако Лигачёв отмолчится. Доверие между ними абсолютное, но Кузьмич – человек особой выделки, из динозавров. После доноса его семья пострадала от предвоенных репрессий, и у него рот на замке. Глухо! Сверх допустимой меры – ни слова, автоматом срабатывает инстинкт самосохранения. Да и что он теперь знает о глубоких замыслах? По-прежнему сидит в кабинете Суслова, но по секретарскому раскладу пересажен на сельское хозяйство. Предубойная выдержка на мясокомбинате.

А 89 год внёс ясность.

Зимой позвонил Мартын:

– Кондрат, я войну в Кенигсберге закончил, ты в Берлине, Прагу мы не брали. Может быть, в воскресенье возьмём?

Поколение фронтовиков друг друга с полуслова понимало. Договорились на пять часов в ресторане «Прага», и обязательно в японском зале. Они и на восточный фронт не успели.

Обменялись семейными новостями, не поднимая рюмки, помянули боевых друзей – тех, кто недавно отбомбил, о своих болячках вспомнили. Потом Глеб сказал:

– Скоро стану безработным. По собственному желанию.

Кедров не спеша жевал сашими.

– Рассказывай.

– Ты же знаешь, ввели выборы директоров, и отныне меня должны избирать.

– Знаю. В курсе.

– Две Госпремии, три ордена Ленина, четверть века директорства, а теперь – выборы! Понятно, девяносто девять процентов дадут «за», но выборы альтернативные, кто-то ещё выдвинется. А на производстве сейчас головы подняли самые нерадивые, самые бездары, кого

драить приходится. Одного из них и зарядят в конкуренты, как пить дать. У меня, кстати, мысль, что выборы, пусть отчасти, придуманы, чтобы раскрутить неформалов. У них вся шваль собирается, одного из горлопанов против меня и выставят. И я должен с каким-нибудь проходимцем, чемпионом Сухумской барахолки альтернативничать? Кука с маком! – Достал «Союз-Аполлон», чиркнул зажигалкой, затянулся. – Унизительная процедура, Кондрат, достоинство не позволяет в этих играх участвовать. Не слишком ли твои, с верхних этажей, начудили? Чтобы директором избрали, чтобы по навету нервы не трепать, надо с крикунами ладить? Пошло оно на хрен. Я возражаю. «По собственному желанию» – мой личный протест. В атаку мне подниматься поздно, да и не могу понять, с кем воевать. Но и молчать не имею права. Завтра подам заявление.

Кедров продолжал медленно жевать. Через минуту спросил:

– Говоришь, от части для неформалов придуманы? А по другой части?

Глеб понял сразу.

– Ты всегда в корень смотришь. В том дело, что это страшный удар по производству, а если взять мой завод, удар по оборонке. Я-то понимаю, что без директорской воли такой самый сложный комплекс технологий, как у меня, разладится. А какая воля, если неформалы начнут твой авторитет поганить?.. Больше скажу, Кондрат. Бродит в башке мыслишка, что кому-то на руку, если я с завода уйду. Знают мой характер, вот и подначивают. Мне ребята уже шепнули, что в альтернативу готовят особо рьяного крикуна, которого я по добросердечию в прошлом году не выгнал. А было за что, по его разгильдяйству задержка с изделием случилась. Он пошатнулся, вот в неформалы и полез.

– Говоришь, удар по производству?..

– По оборонке, Кондрат. Мы же сразу сбой чувствуем, дело у нас тонкое. Скверное у меня подозрение, что хотят обнулить тот задел, какой у нас по ракетам есть. Ты меня понял, Кондрат? Знаешь, как у технарей про твои верха теперь говорят? Горбачёв циркулем начал квадраты рисовать. На все руки мастером оказался.

Помолчали, уткнувшись в тарелки. Потом Кедров сказал:

– Глеб, я тебе отличную удочку подарю, мне её советник Горбачёва Загладин презентовал, ему её из Праги доставили, он в журнале «Проблемы мира и социализма» работал, связи с чехами сохранились, вот его и балуют.

– Нет, Кондрат, на берегу сидеть не буду. Меня везде с руками схватят, и я уже присмотрел НИИ, куда замом пойду. Мне машина служебная нужна, вот в чём дело. Мы с тобой только на танках умели ездить, в молодости о личных авто мысли не было. А потом пошли служебные. Вот и остались без водительских прав. Теперь учиться поздно.

Японскую рыбную свежатину они дожёвывали без аппетита, настроение было смутным.

В тот раз Кондрат вернулся домой в невесёлых мыслях. Он утвердился в мрачных прогнозах относительно завтрашнего дня и понял, что перестройка с её новым мышлением, как коверкает Горбачёв, прямой наводкой бьёт по оборонке, а это говорит слишком о многом.

Второй ржавчиной 89 года стал звонок Лещени.

В Москву Матвей прилетел накануне вечером, поселился в гостинице «Россия» и позвонил утром. На вопрос, по каким делам прибыл в столицу, ответил кратко:

– К вам прилетел, Кондрат Егорович.

Это означало, что дело срочное, и Кедров даже с пропуском возиться не стал, сказал секретарше продиктовать фамилию Лещени на вахту первого подъезда.

Внешне Матвей выглядел молодцом, мужик косая сажень в плечах. Но выражение лица выдавало душевное беспокойство, взгляд потухший, прежнего куража нет и в помине. На дежурный вопрос о житье-бытье отвечать не стал, а сразу предъявил «мандат»:

– Кондрат Егорович, пришло для меня время последнего совета-завета отца: к вам пасть в ноги. Затем и прилетел.

Кедров велел Матвею сесть по одну сторону длинного заседательского стола, стоявшего вдоль окон, сам сел напротив, спиной к свету. В не деловых разговорах тет-а-тет он всегда занимал эту позицию, позволявшую наблюдать за собеседником, сидевшим лицом к свету.

– Ну, глаголь.

Матвей готовился к разговору, предполагая постепенное вползание в больную для него тему. Неожиданный прямой вопрос застал врасплох, заставил начать с того, чем хотел закончить. Пришлось бить с носка:

– Понимаете, Кондрат Егорович... суть дела можно изложить двумя словами и одним местоимением: у меня отнимают совхоз. – Кедров сидел молча, с каменным лицом, словно не слышал. И Матвей после небольшой паузы пустил в ход домашнюю заготовку. – У вас в Москве объявились асфальтовые фермеры, которые на земле не работали, однако поучать взялись со страстью. И показали по телевидению фильм «Архангельский мужик». Вы, возможно, видели? Шуму вокруг него было много.

Кедров этот скандальный фильм, три года назад вызвавший в столице бурю восторгов, смотрел дважды. Вокруг него кипели споры: вот она, альтернатива колхозам! Уж так о нём газетничали, что глаза-уши намозолили. И Кондрату надо было сформировать свою позицию. Фильм смутил. Крестьянин-одиночка, обосновавшийся в лесной глуши и работающий на себя, в шесть раз(!) производительнее колхозника. Ура! Но почему камера не заглянула в дом? С материнским молоком усвоил Кедров, что для крестьянина дом – главный символ жизнестроительства, а дома-то в фильме и нет. К тому же его зоркий глаз не увидел над шиферной крышей телевизионной антенны, а это и вовсе! Что-то не то, глубину толщиной меряют. Выходит, этот справный мужик спит на печке, жрёт при свечке? Стало интересно, как скажет об архангельском мужике Матвей, раз уж он с него начал. Тем более недавно этим фильмом снова принялись размахивать как дубиной, сокрушая колхозную деревню.

И Кедров продолжал хранить каменное молчание, ни вопросом, ни междометиями, ни мимикой не выдавая интереса. Матвей дал волю чувствам.

– Когда я тот фильм увидел, рассмеялся. Уж мы, таёжники, знаем, что в глуши вести хуторское хозяйство ну никак нельзя. Дикарём, что ли, жить? Дочь-шестиклассница в школу за двадцать вёрст моторкой мчится по реке. Одна! Да кто ж ему позволил ребёнком рисковать? Изверг. А «скорую» как вызвать? Вдруг аппендицит? О травме, – этого в сельском деле сколько угодно, – уж и не говорю. Экономический тип однодворца в наших условиях немислим, это я на пальцах могу доказать. Дитём был, но помню в Коломинских Гривах мужика с памятной фамилией – Неизвестных. Не в самих Гривах он жил, а на правобережье. Там, сказывали, когда-то дымил трубами посёлок Петрово, но река подмыла берег, разлив до погребов добрался, поляя вода в улицы вошла, несколько домов рухнуло, и люди оттуда съехали. Остался на правом берегу Оби только Неизвестных. Разобрал дом, перенёс его на высокий бугор. На левый берег лишь зимой выбирался, по ледовой переправе, в однолошадной кошеве, усталой овчиной. – Матвей улыбнулся. – Он в деревне нас навещал, и помню, гордился: у меня на избе табличка «Госстрах. Имущество застраховано». На всю жизнь врезалась мне в память та смешная довоенная табличка с Госстрахом. Так вот, Неизвестных говорил, что он дурень набитый, что в одиночку вести хозяйство нельзя, а он, чудак с приветом, вцепился в свой бугор, живут с бабкой дикарями, да там и помрут... Извините, Кондрат Егорович, что ударился в воспоминания, но они к месту. Тот фильм у нас приняли за романтическую сказку, и вдруг из Томска ка-ак попёрло: вот он, пример, вот как умные люди шестикратно производительность поднимают! И по-ошло. В экстазе бились. Есть у нас одно чучело с такой фамилией, что не выговорить, виртуоз неформального жанра, так он напрямую рубил: дворами живите, наподобие архангельского мужика! Я, конечно, своё слово везде сказал, Лещени никогда не подквакивали, всегда поперёк глупостей стояли, за нами ни одного гектара позора нет. Ну, и начали совхоз прижимать, потихоньку, но с нарастанием, изматывают, как шуку на леске,

чтобы потом за жабры вытащить. А этот год «Архангельскому мужику» вдруг Государственную премию дали и, видать, неспроста. Потому что меня в область выдернули, большой правёж устроили и сказали: либо подписывайся, что через два года совхоз ампутируешь, либо пиши заявление. Ну, я им и показал полруки от плеча, извините, Кондрат Егорович. Вот такие дела. Я заявление не написал, но завет отца вспомнил, и сразу к вам.

Кедров молчал. Кукуруза! Уже проходили это с Хрущёвым, сеяли кукурузу за полярным кругом. И вот снова? Где-то в средней полосе хутора, наверное, возможны, но не в тайге. Не может этого Горбачёв не понимать, в селе вырос. А если понимает, но даёт «Архангельскому мужику» Госпремию, значит, обозначает новую линию партии? В Томске это мигом смекнули.

В 88-м Кондрат предполагал, что Горбачёв нацелился списать партию в утиль, а в 89-м уже чётко понимал, к чему клонит дело. Быстро парень чешет, куда быстрее, чем думалось, для того и съезд нардепов сообразил. И вот Лещеня подтвердил: колхозам-совхозам каюк. Сколько у меня времени осталось?

В такие острые моменты в голове у Кедрова словно счётчик срабатывал, мгновенно, интуитивно подсказывая, что надо делать. О том, как делать, он думал во вторую очередь, уже твёрдо зная, какой результат ему нужен. Так было на Висло-Одерском плацдарме, когда убило лейтенанта Кдряшова и Кондрат вызвал огонь на себя. В ту роковую минуту раздумья о том, что делать, его не посещали, решение принял мгновенно. Но в недолгие минуты, оставшиеся до огненного смерча, не бездействовал, успел здраво, без паники оценить ситуацию и нашёл подходящую воронку, которая спасла ему жизнь. Сейчас, сидя напротив Лещени, Кедров тоже длинно не думал. Не вдаваясь в обсуждения, сказал:

– Вот что, Матвей. Наталья сейчас отведёт тебя в буфет на втором этаже, посиди там полчаса, кофейка с пирожными отпробуй. А я кое-чем займусь.

И вызвал секретаршу.

Времени у него в обрез, это Кедров уже понимал. И пока он в этом кабинете, пока во власти, пока не отстранён, надо действовать без промедлений, тихо, чётко, быстро. Ни дня не терять. Что делать, ясно: застигнутому бедой Лещене нужен дорожный посох, в тайге его со свету сживут, умеют, искусники. Могут и негласное дознание учинить – с этим вариантом Кондрат тоже знаком. Теперь – как делать? Что ж, подумаем, на то он и кадровик.

Минут через сорок пригласил в кабинет Матвея, велел сесть за приставной столик, scomандовал со своего рабочего места:

– Значит, так. Будешь работать в хозяйственной службе ЦК. Как директор совхоза ты к этой работе готов. Через неделю чтобы приступил. Ты семьёй не обременён, холостому что голому – только подпоясаться. Жильё на первых порах наймёшь сам. Всё ясно?

Нажал клавишу внутреннего телефона.

– Наталья, отведи нашего гостя в Управделами. Там его ждут.

И в тот же день в ускоренном режиме зарядил все необходимые для работы в ЦК проверки. Кто такой Лещеня, Кедров знал. Однако порядок есть порядок, всё должно идти по процедуре.

Но 89 год и на этом не успокоился. Тревожило Кедрова, что странный разлад пошёл у Дмитрия с Варей, похоже, в оценках текущей жизни столкнулись. Дед частенько заезжал к молодым побаловать себя вознёй с внучкой, и каждый раз, когда разговор заходил о перестройке, – а сегодня без этого никак! – чувствовал, что между ними искрит.

Дмитрий теперь на коне. В его Институте чуть ли не перестроечный штаб, генерируют идеи, никакого отношения к рабочему движению не имеющие. Прежнее название – словно крыша, под которой совсем иные дела проворачивают. «А идеи-то антирабочие, – с тоской думал иногда Кедров. – Какие сейчас «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? Наоборот, ныне пролетариев – в сторону».

В добродушные с виду семейные тёрки сына Кедров не вмешивался, однако мысленно волей-неволей принимал участие в спорах – разговоры-то не кухонные, о судьбах страны речь, это вам не финтифлюшки, как говаривал Сталин. И в глубине души вставал на сторону Вари. Это его огорчало не потому, что сын проигрывал в матче, – в том дело, что взгляды Дмитрия от месяца к месяцу становились радикальнее. Как отца, Кондрата всё больше беспокоило их разное понимание прошлого и будущего, было ясно, рано или поздно предстоит серьёзный разговор, который расставит точки над «и», и он опасался грядущего столкновения мнений. Слишком часто на крутых перекатах истории идейный разлом проходит через семьи, когда брат идёт на брата, сын на отца. В Гражданскую такие конфликты были трагическими, сейчас кровью не пахнет, однако перспектива душевного разлада с единственным сыном страшила.

С тех пор как отладилась, прочно устоялась его номенклатурная жизнь, вобравшая в себя максимум доступных честному, элитарному бюрократу материальных удобств, он был уверен в наследном благополучии рода Кедровых, надеясь смежить очи в душевном благолепии.

Теперь уверенность пошатнулась.

8

Карьерные кадровики – люди особого склада. А уж цековский номенклатурный кадровик, без малого тридцать пять лет наживающий геморрой в своём кресле, говоря словами Аркадия Райкина, человек «спицфический». Слишком много судеб прошло через него, слишком глубоко приходилось ему тайно и дотошно внедряться в чужие жизни. Сколько карьер он помог сделать и сколько поломал! Но знал заповедь «От многих знаний многие печали» и во всём, что касалось служебных дел, язык проглотил. Никогда нигде ничего лишнего не хрюкнул.

Однако же, в плюс к своей кадровой «спицфичесности» обладал Кондрат Кедров ещё одним нечастым для номенклатурщика свойством. В ранние годы заняв высокий пост в ЦК, – благодаря Золотой Звезде героя, – он напрочь отказался от дальнейшей карьеры. Это уберегло его от участия в жестоких аппаратных играх, которые неугомонно, неумоимо и затейливо вели обитатели цековских джунглей. Никогда не суетился он, делая ставку на Первого, каким был Хрущёв, или Генерального, каким стал Брежнев, ни перед кем не бил чечётку, – а в аппарате уж какие мастера были этого лихого жанра! – никогда не двоился, не примыкал к негласным партийным кланам, которые раз в десятилетие с неумолимым постоянством нарождались в ЦК. Как шутили аппаратчики, спокойно нёс своё бревно на ленинских субботниках. Потому и усидел в престижном кресле от Сталина до Горбачёва.

Но, не исключено, глубже Кедрова, никто в аппарате ЦК, даже на уровне секретарей, не понимал замысла изошрённых кадровых «ходов», посредством которых велись подковёрные войны, а порой устранились либо «главковерхи» либо слишком рьяные претенденты на партийный трон. Кедров помнил, какая закулисная и с виду – с виду! – беспорядочная кадровая возня предшествовала снятию Хрущёва. Помнил, через кого и какой красивой комбинацией с использованием зарубежных вбросов в середине 60-х вывели из игры «железного Шурика», как прозвали члена Политбюро Шелепина, который считался лидером комсомольской поросли, подсиживал Брежнева и сколачивал в ЦК группу поддержки. Кадровик Кедров быстро распознал аппаратную игру Шелепина, но, разумеется, никому ни гу-гу, рот на пудовом замке, пусть верхние сами разбираются.

Ну, Брежнев и разобрался, отправив Шелепина в командировку в Лондон, где его дискредитировали шумными демонстрациями с лозунгами «Вон!».

Эта аппаратная возня стала для Кондрата рутиной, и он не обращал на неё внимания, исправно занимаясь своим делом, уткнув нос в бумаги с грифом «секретно», а зачастую и с вензелями «хранить вечно». Однако встречались ситуации, которые побуждали задуматься. Возникали они не в связи с вопросами по конкретным личностям – в таких случаях Кедров выходил на КГБ, только и всего, – а по мере накопления фактов. Приметил он за многие годы, что запросы Международного отдела на оформление сотрудников пражского журнала «Проблемы мира и социализма» очень уж однотипны. В анкетах тех, кто прошёл отбор у Черняева, глаз опытного кадровика упал на графу «Образование». В большинстве случаев это были не журналисты, а философы, историки, в общем, публика дистиллированная. А когда Кондрат сказал инструкторам сделать выборку лет за десять, картина и вовсе стала любопытной, а возможно, требующей повышенного внимания. Почти все забойные должности в журнале занимали люди, которые либо вместе учились на филфаке МГУ, либо многократно пересекались по работе в академических институтах. Полез глубже и выяснил, что защита их кандидатских и докторских тоже даёт повод для размышлений – по датам, по научным советам, а особенно по составу оппонентов. Цирк: кони бегают по кругу! Анкеты – это же увлекательный детектив для того, кто умеет их читать и имеет возможность их сопоставлять.

Кондрат и умел и имел. А потому сделал неопровержимый вывод: эти ребята держатся очень кучно, сплотка у них тесная, везде тянут друг друга.

Но почему Международный отдел с таким постоянством собирает их в престижном, заграничном журнале? Почему некоторых шлют в Прагу по два раза? Как международник по базе, Кедров понимал особенности журналистской работы за рубежом. А тут в основном не журналисты, а философы, историки, социологи. И круг общения у них наверняка соответствующий.

Разумеется, ответов на возникшие вопросы у Кондрата не было, а доискиваться он ни права не имел, ни желания – холка у него от той проблемы не прела. Просто взял любопытную фактуру на заметку. И со скрытым смыслом вспоминал народное присловье: улетають гуси, да прилетают тож не лебеди.

А ответ на недоумения явился сам собой после смерти Брежнева. Из канадской «ссылки» вернулся бывший начальник Агитпропа Яковлев, возглавивший Институт мировой экономики и международных отношений – именно вокруг ИМЭМО вился рой «проблемистов». И уж кому-кому, а кадровику Кедрову стало ясно, что началось формирование нового партийного, впрочем, на сей раз околопартийного клана. Впрочем, в 83 году ещё сохранялась загадка: зачем? Какие обозначены цели? Кого будет обслуживать группа элитариев, прошедших школу безцензурного зарубежного журнала ЦК КПСС?

В 85-м стало ясно – Горбачёва.

Окончательно всё прояснилось, когда началась перестройка и бывшие «проблемисты» легализовались публично, став её яркими прорабами. «Ничего нового под Луной», – думал Кедров. В Праге за четверть века вызрела группа оппозиционных идейных боевиков, которую умело приспособил к делу многоопытный на сей счёт Яковлев, выкинувший дешёвый, но громкий лозунг: не от хорошей жизни затеяли мы перестройку, а ради хорошей жизни.

С каждым месяцем разброд политических настроений нарастал, что не могло не тревожить Кондрата. Демократия Горбачёва становилась разнузданной, загадочный феномен гласности обернулся ядрёно-ядерным поношением советской истории. И в душе Кедрова начались подвижки.

У бывших фронтовиков своя шкала оценок, свой спрос за подлость. Нарушил закон, украл, взяточничал – что ж, получай срок по людскому суду, боевые заслуги не спасут; у каждого после войны своя жизнь. Но если кто отличился подлостью, над таким в душе прошедших через смертный бой вершится суд Божий, – за предательство бескорыстного фронтового братства.

Такой суд Кондрат вершил над Яковлевым, с которым многое было непросто.

Начальник Агитпропа командовал газетами и журналами по должности. Но раньше жёсткая узда была незримой, безымянной. Однако Яковлев со второй половины 60-х таиться перестал, управлял прессой открыто, порой громко, ссылаясь на журналистскую «разнузданность», пришедшую на смену слепому послушанию сталинских лет. Теперь за этими борзописцами с их словесной джигитовкой глаз да глаз нужен, того и гляди, скатятся к «самовыражению». О еженедельных выволочках главным редакторам на совещаниях в Агитпропе ходили легенды, каждый раз кого-нибудь песочили. Передавали шутку Яковлева по этому поводу – «Недодой корову портит», и его назидательные слова, обращённые к главредам: «Точка вашего сидения зависит от вашей точки зрения».

Но яковлевский Агитпроп дежурными взнузданиями не ограничился, у него обозначилась своя политика в самом чувствительном вопросе тех лет.

Два десятилетия минуло после войны, маршалы Победы, не страдавшие забытием, подошли к возрастному рубежу, который обязывал их оставить для истории воспоминания о великом народном подвиге. Потоп маршальских мемуаров затопил книжные прилавки, вызвав небывалый ажиотаж, вокруг них бушевали страсти и споры, их читали под лупой, выискивая микроскопические неточности. Но главный интерес – в другом. Летописцы войны считали, что потомки не должны блуждать в потёмках, выискивая историческую правду, и наперебой,

хотя и с разной степенью откровенности, впервые после хрущёвского забвения начали возвеличивать Сталина.

А для Кондрата Кедрова эта тема была особо чувствительной.

Фронтовики, работавших в аппарате ЦК, он причислял к сталинской элите. Хрущёвские разоблачения культа личности никак не соотносились с его представлениями о том, что именно фронтовики, которым Сталин, потеснив тыловых крыс, доверил управление страной, через десять лет после военной разрухи подняли её к звёздам – в буквальном смысле. Космос! Гагарин! И когда в маршальских мемуарах возродился главный боевой лозунг войны, с которым поднимались в атаку, – «За Родину! За Сталина!» – в душе Кондрата зайчик прыгнул. А вскоре и вовсе случилось нечто. По кабинетам Старой площади зашелестело: глава Агитпропа Яковлев на одном из внутренних совещаний с пафосом заявил:

– Надо вернуть народу имя Сталина!

Кедров посчитал поступок Яковлева достойным звания фронтовика и был огорчён, когда Сашу – в ту пору они общались по имени и на «ты» – отправили в Канаду. Та посольская ссылка вызвала девятый вал пересудов, народ несведущий был убеждён, что Яковлев пострадал за громкую статью в «Литгазете», на которую гневно пожаловался Брежневу Шолохов. Но Кондрат знал, в чём дело. Яковлев, из карьерных видов любивший играть на две лузы, начал кокетничать с шелепинской мафией, рвавшейся к власти. Однако прокололся, вот и бомбануло, – его предусмотрительно убрали с Агитпропа.

Кондрат, как всегда, оставался над схваткой, партийные интриги его не касались, и он всей душой был расположен к фронтовику Яковлеву, который Сталина добром помянул. Но вдруг прозвучал звонок сомнений. И, как часто бывает в таких случаях, – со стороны.

В ту проблему Кондрат окунулся случайно. Ему поручили подыскать кандидатуру на секретаря Ленинградского горкома по идеологии, и было ясно, что вопрос не простой. Над Питером продолжали витать отзвуки «Ленинградского дела», да и вообще атмосфера там сложная, с диссидентскими эксцессами. Глубина кадрового состава у Кедрова была солидная, на спичечные должности резерв по два, а то и три кандидата, колоду кадров можно было и тасовать. Но идеолога в Питер, к тому же срочно?.. Пришлось искать с чистого листа, и Кедров остановил свой выбор на замзаве отдела культуры Георгии Куницыне, который одно время был даже и. о. зава. Он курировал кинематографию, и в ту пору кино было на взлёте. «Советский Ренессанс!» – писали газеты. «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Девять дней одного года», «Судьба человека» будоражили людей. Прокатная судьба этих фильмов была тяжкой, и все знали, что Чухрай, Хуциев, Тарковский, Климов, Панфилов молятся на Куницына, который спасает их картины от умирания на полке. Особенно гулко отозвался в кабинетах ЦК случай с «Андреем Рублёвым» – вопреки сопротивлению лиц вышестоящих, Куницын добился финансирования съёмок. По мнению Кедрова, репутация Куницына очень подходила для ленинградского идеолога. А главное – фронтовик! Четыре ранения, разрывная пуля на Дуклинском перевале! Говорит, повезло, чудом жив остался. Что ж, был везучим, стал везущим, пашет в ЦК в полную силу, с жаром живёт. Пусть теперь в Питере повкалывает. К тому же мужик задорный и «на выданье», в резерве на карьерный рост.

Короче говоря, Кондрат предложил Куницыну пойти на Ленинград.

Георгий, человек трибунного склада, зажёгся, вспыхнул упованиями на интересную работу, однако через несколько дней дал отбой. Кедров хорошо помнил тот приватный разговор, потому что уговаривать в таких случаях не положено, а уж как хотелось ему высказать свои недоумения, вразумить.

Дело, как ни странно, упёрлось в Яковлева. Они с Куницыным были друзьями закадычными, вместе в 50-е годы учились в аспирантуре Академии общественных наук, вместе писали брежневские речи на бывшей ближней даче Сталина – через овраг от Волынской больницы, – на сталинском биллиарде там резались. Карьерный рост у них шёл вровень, да и вообще,

отделы пропаганды и культуры, они смежные, замзавы каждый день на созвоне. Понятное дело, Куницын прежде всего с Яковлевым и посоветовался.

Суть дружеских советов Георгий, человек открытый, в аппаратной казуистике неопытный, излагал путано, но Кондрат, искушённый в кадровых перипетиях, сразу уловил неискренность Яковлева. Да ведь не поспоришь, нельзя.

Расстались они с чувством обоюдной симпатии. А примерно через год излишне вольнодумного Куницына объявили партийным диссидентом и с треском выперли из ЦК. Кедров готовил на него документы как на редактора отдела культуры «Правды», Зимянин дал согласие. Впрочем, и в газете Куницына недолго держали. У партийного диссидента судьба незавидная, вскоре его списали с номенклатурного баланса, вдобавок перекрыв научную карьеру, – дважды пришлось докторскую защищать. А у него четверо детей... Старый дружок Яковлев, по цековским кабинетным разговорам, с Куницыным больше ни разу не общался, даже по телефону. Сказал секретарям, чтобы не соединяли. В аппарате глухо поговаривали о предательстве фронтового братства, и репутация Яковлева после того случая с Куницыным стала смердить.

Поначалу Кондрат часто думал о той истории. Три матёрых фронтовика и три судьбы, три пути-дороги: один карьерно приспособился, другой пошёл в бой за правду, третий – он, Кедров, – остался в сторонке. Было о чём подумать-поразмыслить. Но жизнь продолжалась. Звоночек по Яковлеву отшумел и затих. И вдруг, на старте перестройки...

Кедров был потрясён: Яковлев рванулся во власть в роли главного обличителя Сталина.

Это была непростительная подлость, заставившая Кондрата вспомнить историю с Куницыным.

9

К Юрию Фёдоровичу Карякину Дмитрий относился не только с уважением, но и с почтением, даже с пиететом. Душевной близости между ними не возникло, однако взаимопонимание было полным. Внешне невыразительный, Карякин привлекал прямоотой суждений и гневно гремел словами по поводу тех, кто пытался притормозить экспресс перестройки, мчавший страну в светлое царство свободы и прав человека. Философ по образованию, большие смыслы перемен он объяснял туманной фразой о том, что пришло время менять сущности и ценности. Он не понимал тех, кто не понимает, что из-за постыдного прошлого сейчас в стране всё хуже любого плохого, а при демократии станет лучше любого хорошего. И костерил тех, кто норывил отстраниться от перестроечной драки, называя их «никакими». С Карякиным Дмитрий виделся нечасто: Юрий Фёдорович появлялся в Колпачном лишь в зарплатные дни. Однако каждый раз находил время пообщаться с Дмитрием накоротке и с нарастающим возбуждением баловал Кедрова слухами о грядущих перестроечных вывертах, не требуя клятвы на крови о неразглашении. После таких мимолётных, но примечательных встреч Дмитрий становился источником стратегической информации, что поднимало его авторитет среди институтской братии.

При этом Карякин всегда оставался для Кедрова загадкой. Было неясно, через что прошёл Юрий Фёдорович: через горнило суровых испытаний в пражском журнале, которые принесли ему громкую славу, или же через чистилище, где ему отпустили грехи бывшего исправного члена КПСС и обеспечили почётное пребывание в среде светлоликих.

Но однажды случилось нечто неординарное: Карякин позвонил по телефону и пригласил Дмитрия к себе на дачу, в Переделкино. Желательно в будний день, не срочно, однако не затягивая. И анонсировал интересный разговор.

В пражские годы ценному сотруднику журнала «Проблемы мира и социализма» Юрию Карякину выделили в Москве прекрасную трёхкомнатную квартиру у метро «Аэропорт». Но как бывает с людьми, в солидном возрасте волею событий вознесенными к широкой известности, Карякин, сделавшись популярным, пресыщенный повышенным вниманием интеллигентского сословия, пошёл в разнос по части новых заманчивых знакомств. В итоге он развёлся, опять женился и благородно оставил квартиру бывшей жене.

А где жить с новой женой?

После хлебной пражской работы «двушку» в спальном районе они потянули, не погрузившись в долги. Но к тому времени Юрий Фёдорович серьёзно увлёкся публицистикой, и его приняли в Союз писателей. К тому же в печати, по телевидению замелькали сообщения, что яркий прораб перестройки, духовный активист, звезда концептуальной элиты, помимо бурной общественной деятельности, работает над потрясающей книгой о Достоевском. Поклонники и соратники трубили, что в ней автор скажет новое слово о великом соотечественнике, чьё творчество, оказывается, созвучно бурным событиям, идущим в стране. Разговоров и пересудов о талантливом, особо одарённом авторе выдающейся книги, которая уже «на выходе», было предостаточно, и по совокупности Карякину хватило писательского авторитета на то, чтобы претендовать на часть литфондовской дачи в Переделкино, где он и закорился.

В гости Дмитрий отправился на своей «копейке» – отец упорно сопротивлялся покупке престижной машины. По дороге вспоминал о давнем визите к Степновым и раздумывал, верно ли он когда-то поступил, отказавшись от приобщения к кругу избранных, которые кучковались под надзором генерала КГБ. А Гена Балаев в ту пору увещевал настойчиво, несколько раз передавал приглашения из Переделкино. «Интересно, что у Степновых теперь, когда иностранцев охотно приглашают в каждый интеллигентный дом? – думал Дмитрий. – Флёр элитарности поблек или же они придумали что-то ещё? И кстати, что с космонавтом, вернувшимся

из межпланетного одиночества? По идее, он сейчас уже не кроссы должен бегать, а мировые рекорды бить».

Дачу Карякину отвели в основной части писательского посёлка, недалеко от Дома творчества, на Тренёва. В условленное время Юрий Фёдорович прогуливался по пешеходной тропке вдоль тенистого участка, и когда Дмитрий притормозил, «копейку» велел припарковать здесь же, на обочине. Провёл на веранду, где был накрыт скромный чайный стол, предложил почаявничать и к делу приступил сразу, не успели чашки наполнить.

«Аудиенция» длилась недолго, минут сорок. На сей раз Карякин не вдавался в разговоры о ближайших перспективах перестройки, а начал с комплиментов, пошутив, что с кем попало не пьёт и он был бы рад как-нибудь в другой раз дружески погудеть с Дмитрием за бокалом армянского, пять звёздочек. Похвала сводилась к высокой оценке аналитического дара, коим Господь Бог наградил гостя, и его, Карякина, личное мнение таково: Дмитрий как нельзя лучше соответствует новым временам, а потому его необходимо пристроить к серьёзному обновленческому делу. Каким образом? В том-то и вопрос, для того он и предложил встретиться... Что касается деревни, то хватит разводить в колхозах овец для пошива генеральских папах, перестройка сделала ставку на фермера, способного накормить страну. С этим всё ясно. Но сейчас лидеры перестройки остро нуждаются в новых идеях по переустройству косных, замшелых порядков на заводах; гласность, демократия требуют преобразований и в этой важной сфере. Ныне нельзя «рюки в брюки», опытному спецу по трудовым отношениям, Дмитрию следовало бы подумать о прорывных идеях на сей счёт. Ибо совражество красных директоров – угасающее, но ужасающее в своём неприятии перестройки, – мутит воду, мешает искоренять изжившие себя порядки. Кошунники! Злодеи порочной идеи. Надо совлечь с них сталинские одежды и отхунвейбинить, разумеется, правовыми методами. Сегодня мысли на этот счёт могут принести солидные дивиденды.

Слово «дивиденды» Юрий Фёдорович как бы пунктиром выделил по слогам и добавил, по-приятельски подмигнув:

– Скорбный труд не пропадёт... Если в вашей светлой голове родятся интересные соображения, звоните. Вместе обмозгуем, покумекаем. – На прощанье скаламбурил: – Будем держать курс на мысль Доброй Надежды.

Возвращаясь в Москву, Дмитрий прокручивал в памяти чаепитие у Карякина. Это что – задание? Нет, по официальному статусу, даже с учётом престижного прорабского ранга, Юрий Фёдорович не вправе давать поручения, потому и назначил встречу в доверительной обстановке. Это дружеская подсказка, дающая шанс прозвучать в перестроечных верхах? Но с чего бы такие милости? За какие коврижки? Отношения у них хорошие, однако не тесные, не деловые. Зачем Карякину нужен Кедров? Гена Балаев делает заходы на дружбу, чтобы на всякий случай заручиться поддержкой отца, это очевидно. Но Карякину такие манёвры ни к чему, для него отец – уходящая натура.

Только на въезде в Москву Дмитрий, наконец, докопался до сути, вычислил интерес Карякина. Высоко стоит, далеко глядит! «Вместе обмозгуем, покумекаем...» – вот в чём дело. Карякин на прямой связи с вождями перестройки, и ему позарез нужно предложить прорывную идею, чтобы «углубить», как говорит Горбачёв. Но если в земельном вопросе они определились – ставка на фермера! – то на заводах перестройка буксует. Насоздавали повсюду народных фронтов, на вербовали неформалов, а дальше что? Вот Карякин и суетится – излишним рвение не бывает. Если удастся выискать что-то дельное, он преподнесёт свежую идею как своё гениальное прозрение. Что ж, каждый свою корову доит. Да ради бога! Зато Дмитрию Кедрову будет обеспечена роль консультанта, работающего в паре с самим Юрием Фёдоровичем Карякиным. Отлично!

Как в своё время сказал Хрущёв? «Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!» Фраза стала крылатой и насмешливой. А ведь есть в ней, чёрт побери, какая-то энергетика.

Когда Дмитрия осенила идея выборности директоров – именно осенила, ночью, в полусне, – он отнёсся к ней скептически, наутро посчитав её не только нелепой, но и бредовой. Потому Карякина беспокоить не стал, а дождался очередного зарплатного дня. Но к его удивлению, Юрий Фёдорович воспринял идею с неописуемым восторгом. Он схватил Дмитрия за предплечья и несколько секунд молча смотрел ему в глаза. Потом выдохнул:

– Дружище, я знал, что ты гений. Бомбически! Это как раз то, что нужно.

С того дня он перешёл на «ты», и всю зиму они плотно общались в институте, а зачастую и по телефону. Карякин посоветовал привлечь в команду двух-трёх коллег, чтобы в деталях расписать политическое обоснование перехода к выборам директоров и процедуру их проведения. Не жалея времени, сам знакомился с черновыми вариантами «бумаги», иногда вносил правку, но чаще подсказывал, какие тезисы уточнить и о чём сказать дополнительно. Не забывая при этом разжигать упования «негров» ждущими их карьерными щедротами. Шутил: «Штопаные носки носить не придётся». Почти полгода длилась муторная, без огонька подготовительная работа, в успех которой не верили ни Кедров, ни Балаев, подключившийся к этому «гиблему делу», чтобы контактировать с Карякиным. Но, как ни странно, к весне Юрий Фёдорович сдержанно оповестил, что идея выборности, кажется, «произвела эффект», а вскоре без уведомительного звонка внезапно прибыл на Колпачный в неурочный день. На восклицательных знаках оповестил:

– Старик, одобрено! А одобрено – значит одобрено и урожай гарантирован. В маргиналиях, на полях, пометки только похвальные. В воскресенье тебе предстоит защита докторской! Готовься основательно, это тебе не канты-гегели. Едем в Раздоры!

Вечером Дмитрий примчался к отцу, который понятия не имел о его «подпольных» научно-политических изысканиях, с вопросом:

– Что такое Раздоры?

Кондрат мгновенно понял, что сын каким-то боком соприкоснулся с Яковлевым, ибо у «архитектора» перестройки в Раздорах служебная дача. Но просто так в свой ближний круг Аня, как за глаза по инициалам называли в ЦК Александра Николаевича, никого не впускает. Видимо, Дмитрий оказался полезным – это его главный критерий при оценке людей. А что значит быть полезным для Яковлева? Он в простоте дела не делает. Склад ума у него особый, и на этом складе чего только нет! Надо разбираться...

– Пойдём, сынок, в кабинет, посудачим. Сначала хочу послушать тебя. Растолкуй-ка, в связи с чем возник вопрос о Раздорах?

И едва Дмитрий приступил к рассказу, с горечью подумал: «Вот и настал день, какого я страшился, в доме полыхнула гражданская война». Подлая абсурдность выборов заводских директоров стала ясна с полуслова, и в первый миг он был потрясён самим фактом случившегося: гибельную идею изобрёл его сын! Душа восстала, хотелось грохнуть кулаком по письменному столу, воспретить, приказать, наконец, усовестить, разъяснив пагубность перестроечных политических игр. От взрыва чувств ломило в затылке – скакнуло давление. Он вполуха слушал восторженное бление Дмитрия о тесной дружбе с Карякиным, чью подноготную слишком хорошо знал. Когда оформляли этого трескучего деятеля в Прагу, возник повод пригласить его на разговор, тогда и понял: нравственно бездарен, ни стыда, ни таланта. Тот ещё кекс! И впопыхах размышлял, как отвадить сына от соучастия в великих бедах, подстерегающих Отечество. Где-то на периферии сознания подспудно продолжала сверлить мысль о гражданской войне с фронтами, проходящими через семьи. Глупо, нелепо промелькнул Тарас Бульба. Нет, ситуация слишком серьёзная, слишком запутанная, с ходу бросаться в бой было бы опрометчиво. Да и вообще, его, Кондрата Кедрова, семья – частный случай, победа над сыном, если он образумится, никак не повлияет на ход событий, влекущих страну к пропасти. Явилась дурацкая мысль: может быть, эту семейную безысходность обратить в шутку? Тянуть, чья спичка длиннее, и дело с концом.

Но с языка сорвалось серьёзное:

– Я верно понял, что тебе предстоит перед кем-то обосновать идею выборности?

– Именно что обосновать! А как ещё воспринять намёк на защиту докторской? Но меня другое интересует: что такое Раздоры?

Кондрат не выдержал:

– Неужели ты не понимаешь, что эта публика словами не бросается, каждое выверено? «Защита докторской» – это же скрытый подкуп, тебе дают понять, что будешь вознаграждён. Тридцать серебряников?

Дмитрий сделал стойку.

– погоди, отец... По наивности я воспринял «докторскую» как иносказание, метафору... А Карякин, он да, мужик непростой. Возможно, ты прав, намекнул. Знает, что я готовлю диссертацию.

И умолк, что-то прикидывая.

Его молчание показалось Кондрату громогласным. Он смотрел на сына и чувствовал, что семейный раскол на глазах перерастает в глубокую пропасть. Как отговорить его от злого недомыслия, чтобы внял истине и сбавил шаг? Они по-разному понимают главные человеческие сути! В затылке ломило ещё сильнее. Как быть? С озорным жаргоном грохнуть кулаком и вдрызг разругаться, состязаясь в упрёках до обоюдного озверения, когда с языка, как у коровы на ходу, вываливаются пакости? А потом мучиться, бушуя в душе, пока не хватит удар или инфаркт? Они, эти «Ани», на то и рассчитывают, что старая гвардия сама сдаст себя в утиль. Но, во-первых, идея заводских выборов уже брошена и, судя по всему, принята на ура. А во-вторых, Дмитрий вовлечён в это грязное дело, по сути, случайно. Сволочная идея позарез нужна перестроечным проходимцам, и эти мозгомои всё равно докопались бы до неё. Не Дмитрий, так кто-то другой!

Он словно шёл в гору по гололёду. Но в замешательстве был лишь несколько секунд. Быстро сообразил, что в данный момент не готов к глубокому разговору с сыном. Слишком неожиданным, непредсказуемым оказался повод для выяснения отношений. Как бы не превысить меру усердия! Надо временно отступить, собраться с мыслями. «Евгения Онегина» он наизусть не знал, как иные гордецы-запоминалы с недалёкими умишками, но помнил пушкинский завет о предрассуждениях и следовал ему. Да и чиновничья сноровка взяла своё.

После театральной паузы примирительно сказал:

– Думаю, настало нам время поговорить начистоту. Но не сейчас, мы оба к такому разговору не готовы. Инициативу беру на себя. А что касается Раздоров...

В ту ночь Дмитрий не спал. Ему предстоит защищать идею выборности директоров перед самим Яковлевым! В неформальной дачной обстановке! Это было нечто. Юрий Фёдорович действительно дал шанс сделать быструю научную карьеру. Хорошо известно, с какими запутанными интригами сопряжена сейчас защита докторских, – тайны мадридского двора. Но протекция архитектора перестройки снимет все проблемы, лишь бы не оплошать, не ударить в грязь лицом.

В ближайшее воскресенье он заехал за Карякиным в Переделкино, и они покатали в Раздоры, благо недалеко, тоже минское направление.

– Значит, так... – сказал Юрий Фёдорович, когда они выбрались на Минку. – Мы едем на госдачу к Александру Николаевичу Яковлеву.

Он наверняка рассчитывал, что внезапный, припасённый для последнего момента, сюрприз произведёт сильный эффект.

Но Дмитрий спокойно ответил:

– Это мне известно.

– Известно? – опешил Карякин.

– Юрий Фёдорович, вы же знаете, кто мой отец. Между прочим, он в ЦК уже тридцать лет. Вернее сказать, в аппарате ЦК. С Яковлевым они были в одном ранге замзавов. Когда-то «тыкались».

Карякин замолчал километров на десять. Промашка! Не назвал Яковлеву отчества Дмитрия! Его изошрённый ум лихорадочно прикидывал, как поступить. Он, конечно, знал, кто такой Кондрат Кедров, который когда-то пригласил его на беседу перед Прагой. И не сомневался, что Яковлев знаком с Кондратом. Но фамилия Кедров не особо редкая, Александр Николаевич мог и не сопоставить. И как он отнесётся к тому, что ему подсовывают сына матёрного консерватора? Но назад не спляшешь, придётся рискнуть, идея выборности оказалась заманчивой, на карту поставлена его, Карякина, перестроечная репутация.

Когда вывернули на Рублёвку, сказал:

– Дима, пойми, смысл сегодняшней встречи в том, чтобы обосновать жгучую злободневность нашей идеи. Пора встряхнуть этих красных директоров, этих извечных назначенцев. – Скаламбурил на игре слов: – Сегодня проблема стоит в биологической плоскости. Они расцветут или распустятся? Нам нужно, чтобы они самораспустились. Доказывать насущность идеи незачем, её смысл Яковлев понимает лучше нас с тобой. Наша задача – вооружить Александра Николаевича аргументами для вразумления врагов перестройки. Твой отец тут ни при чём.

Суть тирады, конечно, заключалась в последней фразе. Стало ясно, Карякин на всякий случай будет отмазываться от приятельских отношений с сыном врага перестройки. Младший Кедров – лишь нужник.

В Раздорах на большой веранде сидели за столом трое: хозяин дачи и две хорошо узнаваемые телевизионные персоны, виртуозы газетного дела – главред «Московских новостей» Егор Яковлев и журналист «Известий» Отто Лацис. Юрий Фёдорович представил Дмитрия так, что всем всё стало ясно.

– Прошу любить и жаловать. Кедров Дмитрий Кондратович.

Кондратович – слишком редкое отчество, чтобы не понять, чей это сын, и Карякин напряжённо ловил реакцию Яковлева. Судя по секундной задержке, шеф лишь сейчас «раскусил» фамилию Кедров, и нужны были мгновенья, чтобы определиться. Но у этого человека в голове счётная машина, она моментально сортирует людей по известному авиационному паролю «свой-чужой».

Яковлев приветливо улыбнулся:

– Рад приветствовать достойного сына Кондрата Егоровича. Юрий Фёдорович говорил, что вы блестяще обосновали идею выборности руководителей производства, и предложил выслушать аргументы из ваших уст. Присоединяйтесь к нашей тёплой компании, сейчас вам принесут чайку. Люди, умеющие грамотно аргументировать прорывные идеи, – большая редкость. Надеюсь, вы просветите наши кирзовые умы.

Карякин предупредил, что надо уложиться в двадцать минут, а на вопросы отвечать так, чтобы от зубов отскакивало, и Дмитрий был готов к такому регламенту. Говорил почти без запинок, без обилия мусорных слов типа «так сказать», «как бы» или «дело в том». Когда поставил точку, Яковлев одобрительно сказал:

– Юрий Фёдорович представил нам суть своей идеи. Но ваш ассортимент аргументов полезен, ибо даёт возможность парировать возражения, а в них, полагаю, недостатка не будет. С вашей помощью произошло как бы удвоение сущностей. Конечно, надо дать слово активистам народных фронтов, которых зажимщики критики за версту не подпускают к управлению производством. Да и заводскую политическую шпану пора приструнить, их расхожие мнения отправить в отхожее место. Плюнуть бы на неё и забыть. Да нельзя, она сейчас раскалена докрасна, плюнешь – зашипит. Надо всё с умом делать. Прошу вас изложить свои соображения в записке. – Обратился ко всем. – Какие вопросы, пожелания?

Словно школьник на уроке, поднял руку Лацис.

– Полезно в дополнение к сказанному разработать тему самоуправления коллективов. Сейчас она на слуху.

Яковлев согласно кивнул.

По молчанию, наступившему за столом, Дмитрий понял: трио бандуристов ждёт его отъезда, чтобы без чужих ушей выступить перед Яковлевым. Глянул на Юрия Фёдоровича, – тот подтвердил едва заметным кивком. Оставалось лишь вежливо откланяться. Мавр сделал своё дело. Поди, принеси, пошёл вон.

Но на этом приключения не кончились. Карякин, видимо, чувствовал неловкость и через три дня позвонил, чтобы как-то компенсировать кражу идеи.

– Дима, твой доклад произвёл впечатление. Мнение такое, что ты нам нужен и будешь работать на Съезде народных депутатов. Завтра в три подъезжай в ЦК, подъезд со стороны улицы Куйбышева, пропустят по паспорту. Кабинет сто пятнадцать. Тебе выпишут гостевой пропуск на заседания съезда. Как будем работать, объясню позже.

С пропуском тоже было интересно. В сто пятнадцатом Дмитрия встретил маленький пухлый человечек со скучным лицом, сидевший за большим письменным столом. Перед ним лежал «кресельный» план зала заседаний Дворца съездов размером с ватманский лист. Каждое место пронумеровано, некоторые ряды выделены бледно-красным цветом, остальные – бледно-зелёным. Человечек, видимо, знал, кто в положенное время явился в его кабинет, потому что сразу вытащил из настольной картотеки заполненный пропуск на Дмитрия Кедрова.

– Товарищ Кедров, вот пропуск, но предстоит определить, где вы будете сидеть. Гостевые места только на балконе. – Он подвинул к себе схему раскладки. – Они распределены, у меня остались несколько кресел вот здесь. Как вы понимаете, места самые лучшие. – Сквозь очки взглянул на Дмитрия. – В резерве я всегда держу лучшие места. Меня предупредили, что надо обеспечить вам хороший обзор зала, причём посадить в кресло рядом с проходом. А это как раз первый ряд балкона. Та-ак... Место номер двадцать восемь будет в самый раз. – Снова глянул на Дмитрия. – Не зря я его придерживал.

Аккуратно чёрными чернилами вписал в пропуск номер ряда и номер кресла.

Дмитрий, ещё не зная, какая процедура с гостевым пропуском его ждёт, задумал вольность: если уж войду в здание ЦК, почему бы не навестить отца? Вот будет сюрприз! А уж когда понял, что его зачислили в разряд приоритетных гостей, и вовсе осмелел. Поблагодарив за пропуск, сказал:

– Вы не подскажете, как пройти к кабинетам замзавов общим отделом?

Человечек вскинул на него глаза, и даже сквозь очки было видно, что в них бьётся какая-то посторонняя и тревожная мысль. После короткой паузы ответил:

– Понимаете ли, товарищ Кедров... Простите, как вас по батюшке?

– Кондратович.

После ещё одной паузы пухленький безымянный человечек сказал:

– Дело в том, что с вашим пропуском туда не пустят, там промежуточные посты. – Быстро поднялся из-за стола. – К тому же в наших коридорах-переходах немудрено заблудиться. Пойдёмте, я провожу.

Они довольно долго петляли по этажам комплекса цеховских зданий и, наконец, остановились перед высокой двустворчатой дверью, слева от которой чернела табличка с фамилией Кедров. Войдя в приёмную, безымянный человечек обратился к секретарше:

– Доложите, пожалуйста, Кондрату Егоровичу, что с ним хотел бы переговорить Дмитрий Кондратович. – Секретарша удивлённо вскинула брови, а любезный инкогнито, оказавшийся не таким уж скучным, повернулся к Дмитрию. – Я свою миссию выполнил. До свидания.

Отец встретил Дмитрия без улыбок и восклицаний, словно только и ждал, – характер! Жестом пригласил сесть за приставной столик.

– Ну?

Узнав о предстоящей гостевой работе на съезде народных депутатов, Кедров задумался. Было ясно, после смотрин в Раздорах Яковлев приспособил Дмитрия к делу, иначе говоря, включил в круг своих нукеров. Новая ситуация требовала осмысления и утверждала в мысли, что решающего разговора с сыном не избежать.

Закончил разговор сухо:

– Ладно, некогда мне разводить турусы на колёсах. Привет Варе и поцелуй Алёнку. Думаю, после съезда найдём время и место, чтобы поговорить капитально.

10

К разговору с сыном Кондрат готовился. Разумеется, стратегический замысел отцовского вразумления был ясен изначально. Однако в данном случае особое значение приобретала тактика. Очевидно, что штурмовать в лоб да с напором нельзя, даже опасно, – как бы не нарваться на отпор. Начинать надо не с главной темы. В итоге Кедров пришёл к выводу, что лучше всего зайти с фланга, раскрыв перед сыном свои опасения по части близкого краха КПСС, затем ударить с тыла, по-родственному, задушевно обсудив семейные заботы, и только после этой разминки в таком же доверительном тоне поведать о тревогах относительно коварства горбачёвской перестройки.

Тыловыми проблемами Кедров называл житейские беспокойства, которым в последнее время уделял особое внимание, занявшись обеспечением семейного клана на перспективу. Молодые ждали второго ребёнка, и предусмотрительный дед, глядя вперёд, задумал подстелить им соломку на случай жизненных затруднений. Всё ли сложится у Дмитрия через двадцать лет, если сегодня страна валится в смуту? Как бы жизнь не ощиная его вползелена. Пока расправит крылья, как бы ноги не переломали. Заглядывая за свои пределы, Кондрат уже не ощущал той уверенности в грядущем благополучии Кедровых, какая жила в душе Героя Советского Союза. Гавкнул, опорочив великую Победу, цепной пёс перестройки журнал «Огонёк», а за ним взлаiali собачьим концертом газетные сивки-шавки. До того разнузданно, иступлённо глумились над бывшими фронтовиками, что многие опасались носить боевые награды. Прохвосты! Пошатнулся и хорошо отлаженный номенклатурный мир, в котором десятилетиями пребывал Кедров. В том, что после краха КПСС чиновные привилегии сохранятся, Кондрат не сомневался, но в личном плане вопросы появились, и серьёзные. Раньше Кедров знал, что по неписанным цековским правилам он будет работать в аппарате ЦК до семидесяти, и считал, что у него есть время подтянуть сына на обеспеченный, элитарный уровень. Но Горбачёв вот-вот сольёт партию, и кем станет Кедров? Скучным пенсионером, пусть и персональным? Слава богу, наверху вовремя подсуетились по части Кремлёвки, и цековской номенклатуре пожизненно гарантирована медицина по высшему разряду.

Последней каплей стал разговор с Лигачёвым. Егор одарил беседой сам, позвал не через секретаря, а в своей решительной манере сказал по телефону два слова:

– Кондрат, зайди.

Не опасался, как было раньше, жучков, которыми предположительно разукрасили люстру, – на прослушку жаловался даже Горбачёв, – не показывал выразительно на неё глазами, как прежде, и удивил откровенностью. Горбачёва по-прежнему не трогал, но по Яковлеву не стеснялся. Говорил, что дело идёт к расколу партии, избежать его не удастся, но к двухпартийной системе по американскому образцу, этому яковлевскому идеалу, надо переходить с умом. Из межрегионалов по сути уже вылупилась социал-демократическая партия, и предстоит размежевание. Подошёл к окну, из которого видно здание КГБ на Лубянке, стоя спиной к Кондрату, сказал:

– На той неделе выступал на круглом столе «Правды». Заявил, что переход к двухпартийности неизбежен и его надо провести цивилизованно, с разделом партийного имущества. Разделить пропорционально численности каждой партии... Вчера подписал гранки, завтра отчёт о круглом столе будет в газете.

Вернувшись в свой кабинет, Кедров долго сидел в задумчивости, велел секретарше ни с кем не соединять. Невесёлые размышления одолевали старого бойца. Егор не врубается в новую реальность. Первым из членов ПБ публично заявил о двухпартийности и наивно думает, что нанёс упреждающий удар. Да нет же, это полигонные стрельбы, а не реальный бой. Делёж

партийного имущества! Кто позволит? Дело зашло слишком далеко, ещё чуть-чуть, и от КПСС останутся одни ошмётки.

Мысленно составив опись последних событий, Кондрат пришёл к мысли, что слишком уж сильно стало подгорать. Темп событий ускоряется, похоже, грядёт опасный разлад с жизнью, и надо бы поторопиться с устройством земных дел, дабы не укатали клан Кедровых житейские кручи.

Но что он оставит в наследство сыну? Деньжат за многие годы благополучной жизни насундучили немало, на новую «Волгу» с лихвой хватит. Но вот-вот придётся Кедровым съехать со служебной дачи, и где будут внуки летом? Пожалел Кондрат, что в своё время не обзавёлся в достатке имуществом, не озаборил личные сотки; в теперешней кутерьме уже не удовлетворишь. Стоп! Покупку дачи не потянуть, а вот квартира... Варя с животом ходит, почему бы не похлопотать ещё об одной квартирке, однокомнатной? Сунулся в Управделами, а у них как раз целая секция «на сносях»: Моссовет выделил квартиры в панельной девятиэтажке для рядовых сотрудников ЦК, где-то на Мичуринском проспекте, в глубине квартала, дом сдадут через три месяца.

Аппаратный зубр, Кедров такие дела умел делать, однако до окончательного решения вопроса о своих житейских стараниях Дмитрию не докладывал, чтобы не сглазить. Как бы между делом брал у него некоторые семейные документы, якобы для копий. Но недавно однушку на Мичуринском закрепили за Варей, и эта приятная семейная новость годится для того, чтобы начать с неё разговор с сыном.

Поехал на пару дней в Барвиху, чтобы вызвать туда Дмитрия и побродить по знакомым лесным маршрутам. Но не успел, Дмитрий позвонил первым:

– Отец, надо поговорить. Расскажу про съезд, кой о чём посоветуемся.

Сын перехватил инициативу, и этот сюрприз заставил Кедрова насторожиться. А Дмитрий без предисловий и разминок – с места в карьер.

– Вынужден тебя огорчить, но обстоятельства требуют полной откровенности. У тебя не должно быть иллюзий, твоей партии жить осталось недолго. – «Твоей партии» означало, что сам Дмитрий уже переобулся в воздухе. – Главные решения приняты, по словам Михаила Сергеевича, процесс пошёл, власть от генсека перейдёт к президенту, от ЦК – к Верховному Совету. Отец, контекст эпохи меняется. Не знаю, как будут развиваться события, но тебе предстоит пережить эту потерю потерю и готовиться к пенсии.

Кондрат молча, заложив руки за спину, плёлся рядом с сыном. То есть шёл-то он, как обычно, спокойным ритмичным шагом, с прямой спиной, однако в своём сознании – именно плёлся, подавленный, ненужный, выброшенный на свалку истории. Вот же оно! О какой двухпартийной системе говорил Лигачёв! О каком разделе партийного имущества! Эти ребята сожрут КПСС с потрохами, пуговицы не выплюнут, ни одного райкомовского здания не отдадут. А ещё хуже, что никакие Герои Советского Союза им не нужны, они едут на глухом отрицании советской истории. Всплыло в памяти давнее грустное пророчество Мартына: что не может быть бесконечным, заканчивается само собой. Семь лет тому памятного ночному разговору на Клязьме, когда поминали Брежнева. И вот...

– Отец, дорогой, понимаю, как тебе тяжело. Потому и затеял нашу встречу, что хочу перенастроить на другой лад. Прошлое отринуто, однако жизнь-то продолжается, ты у нас в самом соку. Но Барвиха закончится, дача в Лесных далях закончится, служебная «Волга» закончится. В зону личного комфорта вход будет воспрещён. И что остаётся? Куковать с мамой в московской квартире? С Алёнкой нянчиться? У всех сейчас идёт сдвиг сознания, и ты не должен допустить разлада с жизнью, ты у нас ещё свежий, вполне можешь вписаться в новую эпоху.

Кондрат слушал сына вполуха. Его охватило горькое чувство безысходности и обиды. Он был готов к краху партии, ждал его. Его уже перестала мучить сквозная бессонница от окаянной лжи, какая лилась в СМИ на всё советское, иначе говоря, на его жизнь. Прошлое опле-

вали, судили без адвокатов, не давали слова сказать поперёк беспамятных поветрий. Обнулили великую историю, а заодно честь и совесть прежних поколений. Утихли горечи и от оголтелой травли партийных кадров. Казалось, невозможное стало неизбежным, и он смирился с трагизмом новых жизненных обстоятельств. Вот такой он, загадочный феномен горбачёвской гласности, когда на встречное мнение не поступившаяся принципами Нина Андреева права не имеет. Освинели. Сердце щемило от тоскливого расставания с прошлым, от того, что пошёл обратный ток жизни, и буднично, на лесной тропинке санатория он, Герой великой войны, перестаёт быть главой семейства Кедровых, превращается в потёртую жизнью старую калошу.

Однако уходить надо с честью.

– Спасибо, порадовал. Но и я тебя порадуя. Когда ты сказал, что Варя беременна, я решил позаботиться о квартире для внука. Имей в виду, ты же мне внука обещал! Держи слово! Ну и выбил через наше Управделами однокомнатную квартирку для Вари. Как раз на прошлой неделе проштамповали.

Дмитрий замер, как вкопанный, схватил отца за рукав пиджака.

– Квартиру для Вари?

– Дом обычный, панельный. Сдача через три месяца.

– Дай мне прийти в себя, я потрясён. – Дмитрий аж глаза зажмурил, головой затряс от неожиданности и надолго замолчал. Потом сдавленным голосом сказал: – Отец, а ты говоришь, Бога нет.

– Я этого не говорил.

– Ну, должен сказать, ты же в ЦК. Ты не представляешь, что у меня сейчас на душе творится...

Снова умолк, и Кондрат учуял неладное. Не на такие эмоции он рассчитывал, радости ждал, а тут – не поймёшь что, Господа ни с того ни с сего помянул. Уж не наклюнулся ли у сына какой секрет? Очень, очень похоже, что он раздумывает, открыться или нет.

– Отец, понимаешь, сейчас такое бурное время, что всё в жизни сплетается-переплетается, политическое и личное в одной упряжке скачут... Ты у нас дома часто бываешь, всё видишь-слышишь.

– И что?

– А то, отец, что... – Замолчал, видимо, обдумывая каждое слово. – Знаю, ты опасался, что между мной и тобой полыхнёт, а на деле-то в моей семье разлад случился. Перестали друг друга понимать.

Было ясно, Дмитрий темнит, лукавит. Конечно, лукавит! Не может того быть, чтобы из-за мимолётных перестроечных несовпадений в семье пошли серьёзные нелады. Быт налажен, житейских трений нет, Алёнке скоро в школу. А Варя, Варя-то беременна! И вдруг – перестали друг друга понимать.

Кондрат жёстко сказал:

– Вот что, парень, окоlesiцей меня не корми, выкладывай начистоту, что у вас там стряслось.

Для Дмитрия такой поворот разговора оказался неожиданным, заготовок не было, а в таких случаях чаще всего выскакивает правда. После нескольких секунд молчания начал весомо, даже выпренно:

– Я человек взрослый, состоявшийся, таиться от тебя мне незачем, уж кто-кто, а ты прекрасно знаешь, что жизнь – штука сложная. Я варюсь в новой среде, передо мной новые перспективы, у меня новый круг общения, наконец, новое понимание завтрашнего дня. И... новые запросы относительно личной жизни. Как мужчина, я теперь знаю, что мне нужно. Отец, хочу сразу сказать: я знаю, что я делаю...

Вдруг замялся, потерял кураж, пустился в сбивчивые объяснения. В этот лепет Кедров не особенно вслушивался. Быстрым умом в момент понял ситуацию и думал, как непредска-

зуюмо устроена жизнь. Относительно женщин на своём веку он много разного видел. Навсегда врезалась в память эпопея ППЖ – походно-полевые жёны, с которыми крутили командиры и о которых, угрюмо, матерком перекидывались бойцы. Помнил он и послевоенную эпидемию разводов: те, кто уходил на фронт младшими офицерами, а вернулся генералами, очумели от невиданных возможностей новой жизни, жестоко бросали довоенных жён, в молодости скитавшихся с ними по военным городкам с неустроенным бытом, и заводили новые семьи. Господи, чего только не было в первые послевоенные годы! Уцелевшие, выжившие в страшной мясорубке брали своё. Сейчас крови нет, но бой кипит яростный, это Кондрат чувствовал по себе. Прежняя стабильная жизнь кончилась, всё сдвинулось с места, перемешалось, людей влекут невиданные новшества, они обрастают новыми знакомствами, обретаю новые возможности. «Сколько же в этой буче возникает связей наподобие военно-полевых романов. Похоже, и Димку запретные страсти ошпарили, – подумал он. – И что теперь будет?»

За долгие годы в ЦК он по долгу службы бывал на многих форумах, крупных конференциях, съездах и опытным глазом везде приглядывался к людям. Старший возраст его почти не интересовал – все типы человеческие как на ладони. А вот молодые... Среди них типажи встречались любопытные, колоритные. И когда мелькнула мысль о Димкином случае, перед мысленным взором явилась смазливая, увлекательная, вертлявая мамзель с парфюмерными изысками вроде оранжевых теней и пурпурных губ, с хорошо подвешенным языком и умением мастерски исполнять гламурный прищур. Зачастую остепенённая, потратившая молодые годы на карьерный рост. Такие шалавы паркета с манящим барахлом на пальцах и в ушах, с нескромной походкой вечно выются на всесоюзных сходках разного профиля, а уж в годы перестройки эти прогрессистки, обожествляющие Горбачёва, наплодились в несметных количествах. И кого из перспективных, ресурсных мужиков пожелает осчастливить такая любви взыскующая, предприимчивая гуманитарная дамочка, щедрая на дары женской природы, тому спасенья уже нет.

А у Дмитрия самый возраст. Взрыв плоти.

Подумалось Кедрову и о другом. За Сталиным сейчас только репрессии числят, а у него ведь и другое было. Когда среди генералитета пошла эпидемия разводов, случился такой эпизод. Один из маршалов взял с собой на кремлёвский приём новую жену, но в Спасских воротах его машину остановили: «Товарищ маршал, вы проезжайте, а вашу спутницу пропускать не велено». Маршал с норовом был, развернулся, не побоялся уехать. Но Сталин-то всем сигнал дал, о том случае широко стало известно, многие его приняли к сведению. Сейчас не то, совсем не то, сейчас наверху такие моралисты, что в цене низость непотребная, а вольность нравов – вне государственного интереса.

Теперь молча вышагивал отец, и Дмитрий, вдруг ссутулившись, словно ниже ростом став, неуверенно, туманно сказал:

– Что делать, готов признать собственное несовершенство.

Кондрат понял, что его семейное лидерство полностью восстановлено и он обязан брать командование на себя. В данный момент развивать личную тему незачем, в перестроечных димкиных издержках надо разбираться отдельно. Вернётся ли он к Варе после адьюльтерчика, если угомонится? Примет ли его Варя после блудного сожития? И как быть с внуками? Много, очень много новых безответных вопросов начало тесниться в голове Кондрата на тенистых аллеях Барвихи. Строго сказал:

– Так ты приехал, чтобы о своих приключениях рассказать? Чего согнулся? Желудок схватило? О клозетной чашке возмечталось?

Выступавший гоголем, но теперь поникший, не готовый к неожиданному повороту разговора, Дмитрий выдавил:

– Отец, ты меня как обухом. Говорю же, встретил женщину – красивая, умная, глубоко меня понимающая, не технократ, моего поля ягода. Потому мозги набекрень, только и думаю о том, как дальше жить. И тут ты с квартирой! Тугой узел вмиг развязал. Чудеса! Я потрясён.

– Но ты же хотел мне про съезд рассказать и кое о чем посоветоваться, – Кондрат с подковыркой вернулся к началу разговора.

– Какой съезд! Ты мне сейчас мозги так загрузил, что ни о чём другом думать не могу. – Кисло улыбнулся. – Шёл в комнату, попал в другую.

11

Варя посмеивалась сама над собой. Семь лет назад, когда ушла в декрет и временно стала беззаботной, первое, что сделала, – позвонила Альбине Рябовол и помчалась к ней на свидание. Теперь она снова ушла в декрет, и опять в голове крутится встреча с Альбиной, пусть, как прежде, безалаберная, пустомельная. Все годы они на постоянном созвоне, однако видятся нечасто. Однажды были на Витькином дне рождения, но мужа общего языка не нашли, взаимного интереса меж ними не возникло, и семейное общение не срослось. А с Альбой забавно, весело, интересно, она языкатая, любит сплетничать о настроениях журналистской среды, к которой косвенно причастна, чем очень гордится. Сама инженер, но теперь на технарей поглядывает свысока. Однако Варя не обижается, а тоже «посмеивается в усы». Вдобавок сегодня и повод есть пообщаться.

Альба, в шикарной сиреневой блузе с патами, в ушах прикольные висячие серьги из крупного янтаря, ворвалась в квартиру с большим тортом в нарядной коробке: «На Арбате покупала, в «Праге». Эксклюзив!» – и с ходу заверещала:

– Ты не представляешь, какая интересная жизнь пошла. Мы с Витькой туристами летим сначала в Марсель, – представляешь, Марсе-ель! – потом автобусом через всю Францию в Париж. По пути Авиньон, ещё что-то, не помню, а в Париже поглядим всё, от Лувра до Версаля. – Понижила голос. – Ломаю голову, как валюты с собой выше нормы протащить, мы уже прикупили. – Хохотнула. – Ты не представляешь, у кого. У проституток! Они же теперь валютчицы. Витька говорит, шмоняют туристов строго, но варианты есть. Он из Шереметьево уволился, а кореша-то у него там остались.

Варя знала, что в их институте кое-кто тоже начинает мечтать о зарубежных поездках. Раньше об этом и думать не думали – режимщики! – но жизнь менялась на глазах, невыездной народ засуетился, размечтался, самые продвинутые тоже начали прикупать доллары с рук и впрок. А Селищев, с которым она тесно связана по одному из аспектов закрытой темы, в азарте обуявших его слухов недавно признался: он подумывает, не «сделать ли ноги» из института. Кто-то из его смышлёных приятелей шепнул, что к спецам такого уровня, как он, могут проявить интерес в московском представительстве какой-нибудь инофирмы, через несколько лет их будет в Москве навалом. И пора завязывать с режимным объектом. «Надоело томиться в этой тюрьме, – ничуть не стесняясь ещё вчера предосудительной в их кругу крамолы, доверительно откровенничал Селищев. – Очень уж нервно кругом стало. Как бы не пролететь мимо денег».

Помнится, после того неожиданного разговора Варя медленно шла к проходной и как бы новыми глазами оглядывала территорию института. Аккуратно, чисто, рядом с кирпичными пятиэтажками устаревшей архитектуры газоны, цветники. А кругом высокий глухой забор из сварных стальных листов. Одной стороной институт вплотную примыкает к железной дороге, и мимо с грохотом мчатся электрички. Но особо примечательна проходная. Машины въезжают через высоченные раздвижные ворота и попадают в полон: впереди ещё одни ворота, а по бокам стального коридора, на уровне трёх метров балкончики для досмотра открытых кузовов. Транспорт проверяют и на въезде, и на выезде. Даже внешне – обстановка, напоминающая кадры из фильмов о тюремных приключениях. Но Селищев, разумеется, имел в виду нечто иное.

В тот раз она задержалась в лаборатории, и микроавтобус, отвозивший сотрудников к ближайшему метро, уже не курсировал – семьдесят лет назад институт заложили, хотя и внутри нынешнего третьего кольца, но в тупике перед железной дорогой, потому местные остро словы и закрепили за ним шифрованное название «Тупик». Пришлось топтать к автобусной остановке

минут десять. Но та неспешная прогулка запомнилась тревожными размышлениями о смутных завтрашних днях, которые, видимо, неотвратимы.

А у Альбины никаких тревог! Наоборот, настроение приподнятое, мечтательных ожиданий не впрокорот. За чашкой чая щебетала:

– Витька теперь день-деньской вкалывает, считай, без выходных. Оно, конечно, новая рубаха всегда дерюжит, но обносится, – шелковой станет. Работёнка у него ломовая, а всё ж лучше, чем скучная пахота в Шереметьево. Зато мы с ним теперь в элитных ресторанах гуляем, где «Чубчик кучерявый». А на Соколе Рома Попрыгунский, это вообще бенефис с ажиотажем. Ух, весело! Вакханалия. На Новом Арбате уже и металлический шест есть. Но я Витьку туда не одобряю, там женский состав очень уж нецензурный, с притязаниями. А на «мыльницу» щёлкнуть не дают.

Варе было известно, что Рябовол бросил инженерить и устроился... Нет, устроился – не то слово. Альбина по телефону рассказывала, через какие мытарства пришлось пройти Витьке, чтобы где-то в Вешняках арендовать маленькую комнатку с отдельным входом, – теперь везде денежные дорожки приходится стелить, райисполкомовские, которые арендой ведают, без наркоза режут. Зато комнатка не в жилом доме – в жильё нельзя. А в отдельно стоящем павильоне, половину которого занимает магазинчик, а в другой половине – обувная мастерская, часовщик и прочая бытовка. У Витьки там оборудован шиномонтаж, он ворочает колёса с утра до ночи. Понятно, платит и приплачивает, кому нужно, есть и другие ерундовые частности, но всё равно счастлив.

Поначало Варя не поняла, брезгливо фыркнула в трубку:

– Надо было получить диплом о высшем образовании, чтобы работать шиномонтажником.

Но Альба весело ответила:

– Не отставай от жизни, Варя. Сегодня это самый-самый цимес. Как закон об индивидуалах приняли, Витька сразу в шиномонтаж и ломанулся. Ты не представляешь, какие у ИТД перспективы. Сумасшедшие! Это же новая сцепка с жизнью. Такое сейчас время, что на трамвайный билет можно «Волгу» выиграть.

Теперь, с глазу на глаз, Альба, которую со студенческих лет отличала житейская бывалость, словно заводная канарейка ворковала об этих сумасшедших перспективах.

– Думаешь, Витька пошёл на шиномонтаж, чтобы просто горбатиться? Он меня возил в мастерскую – жуть! Грязно, тесно, жарко, душно, покрышек навалом, ступить негде. Сколько там заработать можно, Варя? Ну да, больше, чем в Шереметьево, но разве в этом дело? – В своей заговорщицкой манере невольно перешла на полусёпот. – Витька с утра до ночи вкалывает, а выходит всего-то пару тысяч в месяц. Зато отчитывается... Варя, он на сто тыщ отчитывается! Деньги-то моего отца и свекрови. Усекла?

Варя ещё в студенчестве, с первых дней знакомства с Альбиной и Виктором усвоила, что их родители – зав антикварным магазином и зав кулинарией «Будапешта» – люди, мягко говоря, не бедные. И теперь смекнула, что Витькин шиномонтаж – это примитивная прачечная для отмывки денег. Удивило лишь, как запросто, свободно, беззастенчиво, не скрываясь, Альбина раскрывает токсичные семейные секреты. Вспомнились и безбоязненные откровения Селищева – тоже перестал стесняться-опасаться. В голове мелькнуло: люди меняются на глазах, боже мой, как незаметно подкрались эти перемены; да-а, времена стали шатки – только береги шапки... Но, конечно, ей в голову не могло прийти, какова истинная цель Рябоволов.

А Альбину, словно Остапа, понесло.

– Кооперация перевернёт жизнь. Невообразимо! Грядёт время, когда самые умные, самые яркие проявят себя. Хватит в потном утреннем метро на работу тащиться, чтобы киснуть, как ты, во всяких шаражках. Мы, считай, ничего не имели, зато нас имели, как хотели. Пора кончать с теперешним борделем.

– Наш «Тупик» – шаражка? – возмутилась Варя.

– Ну, извини, извини, не сердчай на слово. У тебя институт – да, серьёзный. А Витька, хоть в аэропорту работал, всё равно киснул. Но суть-то в чём, Варя? Вот-вот павильон, где шиномонтаж, на торги выставят, по частям, штуками продавать будут. Распродажа-то лакомая, уже драка пошла. А мы с Витькой вождееееем купить его весь! Ве-есь! Для того и нужны легальные деньги. Чистые, непосильными кооперативными трудами заработанные. Теперь усекала?

Альбина шумно втянула чай и вопросительно уставилась на Варю, улавливая, какой эффект произвело её сообщение.

В «Тупике» перестроечные новшества обсуждали горячо, однако считали, что к атомной сфере они отношения не имеют. Средмаш всегда оставался в стороне от управленческих перетрясок, его никогда не разукрупняли и ни с чем не сливали, со времён Сталина он жил по своим внутренним правилам, чему способствовал режим особой секретности. Потому Варя была далека от кооперативных смыслов с их фиктивным заработком и вожделениями по части недвижимости, не хотела в них вдаваться и только плечами пожала:

– Суть, конечно, поняла, но для меня твоя конкретика – пустой звук. Это ты занимаешься масштабными проблемами торгов, а мы в нашей шаражке сидим на мелочах вроде атомных реакторов. Но держи в курсе, буду за тебя болеть.

– У тебя раннее осеннее обострение, как всегда, подкальываешь, – добродушно улынулась Альба. – Не понимаешь, что народ уже не прежний. Ладно, проехали. Теперь я тебя нашими журнальными сплетнями побалую.

Очень уж ей хотелось всласть потрепаться, в очередной раз самоутвердиться по части того изысканного общества, в каком она варится, хотя Варю, честно говоря, и эта тема мало интересовала. Она договорилась с Альбой о встрече не для того, чтобы убить время, – хотела по-бабьи излить подруге душу, смущённую жизненными сомневансами. К месту была бы сейчас рюмочка сливовицы, да нельзя: Альба за рулём, – у них новая «пятёрка» – да и ей самой не до спиртного, в декрете.

Однако подруга распушила хвост и увлечённо зашебетала о потрясающих событиях, которые Варя даже представить себе не может. Оказывается, зять Хрущёва Аджубей написал личное письмо Горбачёву.

– Аджубей-то, он знаешь какой антисталинист, у-у! А сейчас на Сталина охоту объявили. Вот Алексей Иванович и написал, что готов Горбачёву присягнуть и верой-правдой служить перестройке, открывать окно в демократию, а ему даже публиковать статьи под своей фамилией не позволяют. Да, да, Варя, он и в журнале печатается под псевдонимом. Родионов – это и есть Аджубей. Во какие порядки при коммуниках были! Смех сквозь хохот! А у Горбачёва, оказывается, есть специальный помощник, через которого все бывшие, которые с самых-самых верхов слетели, могут к нему с просьбой обратиться. Это Алексей Иванович в комнате художников рассказывал, я сама слышала. Ну вот, отдал он письмо и ждёт. А с ответом затягивали, Аджубей нервничал. Потом приходит злой и говорит с пулевым словом: Горбачёв передал письмо Яковлеву, и мне звонил его помощник, сказал, что могу печататься под своей фамилией. И больше ни звука. Короче говоря, Варя, рекомендовали ему пойти подальше. Вот оно как на самых-самых верхах делается!

– Подожди, я не пойму: кто ему мешает за перестройку ратовать, если он хочет?

Пухленькая, резвая Альбина аж руками всплеснула, всхрюкнула:

– Да как ты не понимаешь! Докладаю: он же был главным редактором «Известий», опыт колоссальный, ум большого калибра, вот и просился на солидную должность, чтобы на виду быть. Ему для этого политическое алиби нужно. А ему – шиш! Ни звука. Выходит, гайка на резьбу не села. Потом Юрий Васильевич, ну, Степнов, наш фотокор, первач, который всё про верха знает, разобъяснил, что Яковлеву хрущёвский кадр не нужен, вот его и бортанули. Там свои тонкости. Юрий Васильевич сказал, что глушительный антисталинский успех – да, да, так

и сказал: не оглушительный, а глушительный, со смыслом! – Яковлев хочет за собой оставить. И вообще, хрущёвские разоблачения культа личности сегодня не совсем к месту, даже вовсе не к месту. Пусть народ думает, что Сталина в первый раз догола раздевают. Политика! Вот оно как, Варя, всё теперь поворачивается. Мутно-путано всё.

При упоминании Степнова Варе вспомнилось необычное гостевание в Переделкино. Боже, как давно это было, целая вечность! А минуло-то всего лет семь. Что же творится на белом свете, если жизнь меняется так стремительно?..

Альбина ухватила Варину задумчивость, видимо, поняла, что подруга сегодня не расположена к бабскому трёпу, и перекинулась на житейское:

– А вообще-то, Варя, как жизнь?

Это был главный вопрос, понятный каждой женщине, ибо невзрачное, невнятное «вообще-то» на самом деле предполагает, что речь идёт о семейном благополучии и прежде всего о душевном самочувствии. Но в ответ Варя не могла, как раньше, весело улыбнуться и воскликнуть что-нибудь вроде «о'кей» или «полный порядок». По этой части настроение было не очень, она пожала плечами.

– Да всё вроде бы нормально.

Альбине ничего объяснять не надо, она сразу поняла, что в доме Кедровых непорядок, вцепилась:

– А ну-ка, подруга, давай подробнее, у тебя печаль в глазах. Докладай. Вместе будем думать.

Но Варе после водопада Альбиных восклицаний о жизненных удачах расхотелось обсуждать семейные сомнения. Да и сказать-то по-крупному было нечего. После съезда нардепов, где Дима пропадал днями и ночами, его жизнь перешла на ускоренный галоп. Семь дней в неделю он занят с утра до вечера, домой заявляется предельно усталый и сразу заваливается спать. Раньше всегда рассказывал о политических новостях, а сейчас и времени для бесед нет. Скучно, второпях пожует что-нибудь за завтраком, поцелует Алёнку – и помчался куда-то хвост трубой. Правда, зарабатывать стал больше. Но Варю не покидало ощущение, что повышенными авансами и получками он как бы оправдывает сверхзанятость. Что-то неясное, непривычное начало витать между ними, погода в доме изменилась, и от странных домашних перемен настроение было так себе. Потому на фоне Альбиных притязаний на развесёлую жизнь и её предвкушений новых радостей Варя наотрез отказала подруге в желании «думать вместе».

Сказала, как в былые студенческие времена:

– Альба, докладать-то не о чем, никакой конкретики нет. – Выдавила из себя улыбку. – Если что, ты у меня не открутишься, сразу вызову.

12

Ровным шагом отмерив знакомый барвихинский маршрут, Кондрат Кедров пологой гранитной лестницей спустился к большому озеру с двумя парами грациозных лебедей. По мосткам прошёл в надводную беседку, облокотился о перила. На противоположном высоком берегу поднимался нарядный замок с башнями и узорчатым фасадом – резиденция для знатных гостей. На аккуратной набережной было пусто, от воды веяло бодрящей свежестью, и думалось ему в тот раз особенно ясно.

С Дмитрием он лишь созванивался, оба не торопили генеральный разговор. Сын, видимо, взял время на то, чтобы определиться со своим личным завтра, а отец медлил, оттягивая «час икс». В мозгу шевелилась надежда: Варя вот-вот родит мальчика, это уже известно, глядишь, Дмитрий образумится, семейная встряска обернётся лишь лёгкой эскападой. С кем не бывает.

Домашние беспокойства не мешали думать о главном. Кондрат пошёл на последний круг жизни и подводил её предварительные итоги.

В годы перестройки он не изменил присяге молодого бойца, не стал ни правым, ни левым, ни прогрессистом, ни консерватором, ни русофилом, ни западником. После Висло-Одерского плацдарма, когда Господь Бог подарил ему вторую жизнь, его духовной опорой была забота о благоденствии Отечества. По Солженицыну, он плодоносил в пользу России и движения общественной мысли в каждом конкретном случае соразмерял с этой доминантой. Звезда Героя обеспечила ему карьеру, он не надрывался в потугах показать себе перед начальством, не цеплялся судорожно за чиновное кресло. Шёл по жизни спокойно, с устойчивой крейсерской скоростью, рассчитывая, когда придут сроки, укоренить род Кедровых в государственной элите, которая, в его понимании, была гвардией, готовящей прорыв страны в благополучное завтра. Человека праведного, его коробило от бюрократического пыла тех, с кем приходилось общаться, эту болезненную склонность партийных верхов он знал изнутри и на ощупь и надеялся, что рано или поздно изыдет из государственных штабов эта пагубная зараза. Потому и перестройку воспринял с оптимизмом.

Но надежды лопнули, всё рушилось, жизнь распадалась.

Отстранённость от бурного потока идейных новшеств, захлестнувших страну, позволяла Кондрату зреть в корень. Он судил просто, без туманной конспирологии и умозрительных изысков, ибо лично знал этих людей, одурманенных жадой власти. В 87-м ему стало известно, что ещё в 85-м Яковлев письменно предложил Горбачёву переход на двухпартийную систему по американскому образцу, и для Кедрова замысел перестройки прояснился окончательно. Впрочем, он не тратил нервные клетки на идейную оценку яковлевского варианта, был абсолютно уверен, что в СССР политической системы с чередованием партий у власти эти люди не допустят. Они хотят оставаться при своём до физического конца. Но понимают, что их прозападные убеждения в КПСС не пройдут, и блудливо намерены создать свою партию, а КПСС слить в унитаз истории. Сохранив монополию на власть, эти свободолюбы, языки стёршие на обличении тоталитаризма, продолжают рулить привычным приказным порядком, ехать на кнуте, за неповиновение угрожая отлучением от привилегий, – эти навыки у них в крови, храп не лечится. И добьются своего, сольются в объятиях с Западом.

Откровенно говоря, даже при таком историческом переломе катастрофа Кедрову всё-таки не мерещилась, – что ж, лично ему предстоит выйти в тираж, зато наступит настоящий детант, реальная разрядка мировой ситуации. И всё бы ничего, да опасений набегало превеликое множество. Ещё со времён МГИМО, когда изучал историю международных отношений, Кондрат сильно сомневался в бескорыстии Запада. Смущали и события последнего десятилетия.

В 77-м Андропов представил в ЦК закрытый доклад о том, что американская разведка, не считаясь с затратами, ведёт активный поиск людей, которых в качестве агентов влияния можно продвигать на высокие должности в политике, экономике, даже в науке. Со шпионажем спецслужбы разбираться наловчились, но по части агентов влияния дело было совсем новое, сродни откровению. И КГБ ужаснулся от масштабов «влиятельной» вербовки. Но противостоять не умел, лишь поставил ЦК в известность, ибо речь шла о кадровой политике, а кадры – прерогатива партии. Когда началась перестроечная чехарда, Кондрат вспомнил о том докладе, с которым ознакомился под роспись. В то время даже создали группу по подготовке ответных мер, однако дело ушло в песок и забылось. Сегодня ясно, чем аукнулось небрежение к давнему предостережению КГБ. Впрочем, самостоятельными вычислениями, кто есть кто в высоких партийно-советских аппаратах, Кедров заниматься не стал, предоставив это сомнительное удовольствие Крючкову. Зато сразу понял, что вакханалия критиканства, девятый вал компромата, бешеная истерика вокруг истории, поношение всего советского и прочие внезапно постигшие общество недуги – дело рукотворное, намеренное. Из перестроечного бедлама явственно торчали уши агентуры влияния. Спящая, она ждала своего часа. И когда поступила команда, тысячи, а возможно, десятки тысяч интересантов на всех уровнях всех видов власти – от государственной и партийной до медийной и финансовой – разом взялись за дело. И задачу, которую они выполняли на данном этапе, Кедров вычислил без труда: погрузить общество в хаос! Даёшь разруху в реальной жизни и в головах людей!

Шлюзы для потоков нечисти и свежеевыжатой лжи о прошлом были открыты.

Словно из-под земли, повылазили откуда-то всевозможные религиозные секты, горячо вербовавшие сторонников, анархисты разного толка, звавшие покончить с государством, эволюционеры с голубыми флагами, местечковые остёрословы, соблазнявшие детей вредными советами переиначивать хорошее в плохое. Глашатаями новой правды стали фрондёры с фигой абсолютной свободы личности в кармане, неустанно и крикливо обличавшие нынешние порядки. Фанаты похудания на каждом углу неистово славили герболайф, хватая прохожих за рукав и навязывая чудо-таблетки. Выжиги и барахольщики, торговавшие с рук всякой всячиной, громко обогащали уличный шум неформальной лексикой. Пресса прославляла светочей экологии, требовавших наложить эмбарго на технический прогресс и вернуться назад, к природе. Объявившиеся вдруг шаловливые СМИ шумели о дурацких, безумных идеях. Кондрату запомнилась заметка о строительстве автономных высотных пивных с туалетами на верхних этажах и турбинами на нижних, что позволило бы обеспечить небоскрёб электричеством. Этот бред будоражил не столько идиотизмом, сколько возможностью публично провозглашать любую чушь, любое постыдство. На улицах кликушествовала крикливая орда карикатурных непризнанных гениев с повышенным гемоглобином. Словно пугала огородные, щеголяли в немыслимо пёстрых одеяниях девушки без возраста, личности с пограничным сознанием. В центре города шныряли стайки пацанов, задиравших прохожих, на окраинах безбоязненно, громким матом по ночам будили людей своры подвыпивших собутыльников. На Арбате, привлекая тысячи зевак, грохотали самостоятельные джазбанды, с барабанным боем шествовали кришнаиты в причудливых восточных одеяниях. Телесеансы внушений Чумка и Кашпировского вводили в экстаз. Чуть ли не в каждом доме появились трёхлитровые банки водопроводной воды, после «зарядки» от телевизионных гуру обладавшей волшебными свойствами. Всё, что вчера было нельзя, вдруг стало лезя. Этот хлам с блошиного рынка, это всеобщее безумное грязепомазание безжалостно прославляло телевидение. Всесветный шабаш с разгулом пошлятины обрушился на психику людей, сбивая их с толку, делая беспомощными перед шквалом перемен, угрожая одичанием жизни.

Цирк и зоопарк в одном флаконе. Такого разгула не мог себе представить даже туберкулёзник Оруэлл.

Ещё хуже было с идейными вызовами.

Кондрат, через которого прошли тысячи номенклатурных кадров, умел читать скрытые смыслы и с лёгкостью схватывал суть беспощадной эпидемии разоблачительства, охватившей общество. Поражал размах дела. Безудержное шельмование, свирепое сведение счётов, скелеты в шкафах, поддельные компроматы, водевильные склоки, сливы порочащих документов, вал подложных обвинений в афёрах, в растратах, в пьянстве, даже в двоежёнстве и прочий доносительский шлак – не ушаты, не бочки, а цистерны этой грязи потоком изливались на обывателей. В том числе через мерзкие телеристалища особо отъявленных ненавистников прошлого, собиравшие у экранов миллионы людей, очумевших от размаха публичной стирки грязного белья. Смерч нелепых обвинений не щадил ни седых, ни лысых, ни бритых, ни усатых. И – да, да, он обрушился на страну вдруг, внезапно, ни с того ни с сего. Под флагом гласности! Сомнений не было: сделано по команде! Кедров хорошо знал, как по команде ворочают общественными настроениями, много таких вбросов было на его, по нынешней терминологии, тоталитарном веку.

Но поражало, что компроматный кошмар-шантаж шёл на фоне истерики о сталинских репрессиях. И крутили дьявольскую шарманку всеобщего раздрая именно те, кто громче всех негодовал о тираническом советском прошлом. Между тем, тотальный озноб, колотивший общество, очень уж начинал напоминать лихорадку тридцатых годов, когда людей натравливали друг на друга, поощряя взаимную нетерпимость. Жадные до славы перестроечные вдохновители очищения от скверны прошлого на деле стали подстрекателями новой волны репрессий, хотя с виду и не кровавых, – по аппаратному сообществу прокатилась волна самоубийств. «Увы, человеческая природа несовершенна, а правители издревле умеют раздувать раздоры, – думал Кондрат и мысленно ужасался. – Архитекторы и прорабы, они того же поля ягоды, что и те, кого бичуют. Но не должно хромым негодовать на горбатых».

От этого коллективного сумасшествия, от демократического оголтения прорабов перестройки – при чём здесь демократия? – Кедров, хотя и принял для себя главные решения, всё же пребывал в лёгкой растерянности. Вдобавок по службе дел почти не стало, и Кондрат упрекал себя за «ковыряние в носу». С тоской осознавал, что запас жизненной активности у него на исходе, ни сил, ни локтей не осталось, и как быть, неизвестно. Пошёл на последний круг, а теории эндшпиля ни в шахматах, ни в жизни нет. Только дебюты разработаны.

Да, он смирился с неизбежным падением КПСС и не испытывал тяжких душевных мук в преддверии её распада – возможно, по той причине, что свою партийную песню он вот-вот допoeт до конца. Смушал опасный для Отечества хаос запредельной свободы, чреватый, опять-таки по Солженицыну, новым тоталитаризмом. Классическое нетерпение интеллигенции в очередной раз могло обернуться против неё самой.

В непредсказуемых вариантах.

Впрочем, это удел завтрашних времён. А неспешно размышляя о наставших уродливых днях, мелко философствуя, как подшучивал он сам над собой, Кондрат приходил к выводу, что новая хаотичная жизнь неизбежно начнёт преподносить неприятные сюрпризы и перестроечным ниспровергателям основ, – как бы им самим не угодить под каток компании разоблачений. Да, выиграть у шулера, играя его колодой краплёных карт, невозможно. Однако, известно, именно шулеры нередко становятся жертвой побочных обстоятельств. Старый холостяк, волюнтарист Шопенгауэр, пожалуй, был прав: живущим в стеклянных домах не следует швыряться камнями.

В уютной беседочке на озере он смотрел в воду в прямом и переносном смыслах.

13

Первый звонок прозвучал, когда пошла кутерьма вокруг академика Заславской, чья история поразила масштабами перестроечной фальши. Впрочем, многие говорили, что это не звонок, а удар колокола, возвестивший о том, что изначальная вера в благостные демократические времена пресеклась.

Та скандальная свара, получившая широкую огласку, для Дмитрия Кедрова началась внезапно.

В один из дней позвонил Карякин:

– Приезжай и, по возможности, не затягивай.

Теперь их отношения были дружескими. На съезде Кедров не подвёл, отличился, знатно показал себя в деле. Он сидел в первом ряду балкона с прекрасным обзором зала и каждый раз, когда намечалась дискуссия по текущему вопросу, внимательно наблюдал за левым проходом. В крайнем кресле одного из передних рядов сидел человек в пёстром пиджаке – приметная чёрно-белая клетка. Это был Егор Яковлев. Иногда он вставал с места и замедленным шагом вальяжно шествовал к боковой двери. Но ещё не успевал выйти в фойе, как в разных концах огромного зала поднимались несколько депутатов из других делегаций. Некоторые из них семенили к ближайшему выходу, другие торопились занять два-три первых места в очередях к микрофонам, установленным в проходах, чтобы отсечь от них ораторов из послушного меньшинства. Словно ошпаренный, вскакивал и Кедров, тоже спешил к выходу из амфитеатра балкона, эскалаторами спускался с галёрки на минус первый этаж и быстрым шагом устремлялся к площадке перед туалетами.

Со своей верхотуры он, как правило, прибывал последним – вокруг Яковлева уже теснились человек десять. Зато во время бега по эскалаторам успевал кое-что сообразить по части дискуссионного сюжета, и Егор Александрович почти всегда учитывал его мнение. Мозговым штурмом боевой отряд межрегионалов быстро отрабатывал тактику полемики, распределял роли, и выступальщики на нерве мчались в зал, сразу вставая к микрофонам, – им уступали место те, кто заранее занял очередь.

И едва начинались дебаты, из пяти-шести стационарных микрофонов напористо била именно их точка зрения, словно конфети из хлопушек, засыпая зал ворохом цветистых слов. Но время дебатов ограничено, оппоненты зачастую даже не успевали выступить, и голосование складывалось удачно для активного меньшинства.

Этот хитроумный трюк, по словам Карякина, сообразил лично Егор Яковлев, за что надо бы ему в ноги поклониться, – сколько ретроградных резолюций удалось завалить! Потом, собираясь по случаю, участники мозговых штурмов весело вспоминали это съездовское шапито, язвительно надсмехаясь над простофилями из консервативного большинства.

Но в этот раз было не до смеха. Вокруг академика Заславской, которая предложила новую схему социального управления обществом, завертелась нешуточная карусель.

Юрий Фёдорович начал без разминки:

– Дима, есть проблема по твоему профилю. Ты читал «Иного не дано», который открывает статья Заславской?

– Ты же знаешь, какая сейчас горячка. Сборник в очереди на чтение. А что?

– А то, что вокруг Татьяны Ивановны пошла свистопляска, лигачёвская публика возбудилась. Значит, так. Немедленно прочитаешь статью, нужны твои компетентные аргументы в поддержку Заславской. Кстати, её концепция согласована. Понял?

– В двух словах, о чём речь?

– Татьяна Ивановна – женщина отважная, вызвала огонь на себя. Первой провозгласила, что на смену классам по Марксу идут слои населения. – Скаламбурил: – По существу, меняем классовый подход на кассовый. Пролетариат давно расслоился, перестал быть движущей силой.

Кедров знал об этой концепции. Заславская, которая часто давала интервью и писала уйму газетных статей, не раз касалась запретной пролетарской темы. Сначала осторожно, туманно, потом смелее, откровеннее. Судя по словам Карякина, в сборнике, где с манифестами выступила маститая верхушка прорабов перестройки, она, видимо, зашла с козырного туза и поставила крест на «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», обнулив идейную основу ленинизма. Лихо!

Дмитрий понимал, как непросто в рамках Института рабочего движения организовать пышные похороны пролетарской диктатуры. Попытался ускользнуть:

– Заславская, как ты помнишь, как раз перед перестройкой писала, что ослеплена величием марксовой мысли в «Капитале».

– Ну и что?

– Мне кажется, сначала надо отработать аргументы для её «квантового скачка». Задача непростая, представляется, лучше идти от полифоничности мнений и сначала вбросить «слои» Заславской наряду с классами, как одну из свежих идей, а потом раскрутить её через СМИ. Может быть, срочно провести научную конференцию?

– Какую конференцию, Дима! Какие аргументы! Не тарахти. Заславская – выдающийся социолог и экономист, почётный доктор Джорджтаунского университета! Великие умы имеют право на прозрение. Не надрывай память, гляди вперёд, а не оглядывайся. Татьяна Ивановна стала научным лидером перестройки. Новые времена – новые песни. Кроме того, надо действовать срочно. А во-вторых... Ты же читал «Преступление и наказание».

– По Достоевскому ты у нас главный.

– А если я главный, то устами Великого Инквизитора приказываю: «Да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее». Ты понял смысл событий? Марксизм одряхлел... И давай-ка без карамазовского бунта разума.

Не понять Карякина было невозможно. Но младший Кедров не до конца освоился в новой для него среде идеологов перестройки, где доблестью считались инквизиторское лицемерие и официальная ложь, где цель оправдывала средства. В его душе всё ещё копошились ненужные представления о верховенстве научной истины, ещё не угасли в нём шевеления духа, отторгавшие цинизм. Однако Карякин поставил вопрос столь жёстко, что было ясно: на сей раз «или – или». Или «да сгинет истина», или «бери шинель, иди домой», «давай, до свидания» и прочие расхожие прощальные приговорки. Чаемые вегетарианские времена светлой демократии заканчивались, не начавшись.

Дмитрий отшутился:

– Будет, как изволите хотеть... Кстати, ты не забыл, что завтра в институте присутственный день?

Но расставаться с упованиями больно, не каждому дано справиться с умственно-душевной болью без наркоза. И, распрощавшись с Карякиным, Дмитрий припарковался за углом – там, на небольшой площадке у местного магазинчика, торчала блекло-голубая будка телефона-автомата.

– Уля, еду из Переделкина, жажду пообщаться. Это счастье, что ты дома.

Они договорились встретиться в маленькой кафешке на Маросейке, которую облюбовали для свиданий, и Дмитрий, пока добирался до центра города, сосредоточенно оттачивал суть своих душевных переживаний, чтобы вместе обмозговать карякинское «или-или», которое на деле звучало как «быть или не быть». Откровенно говоря, он не сомневался, что поддержку получит не Гамлет, а Великий Инквизитор, ибо Ульяна страдала аллергией на КПСС, и её мне-

ние Дмитрию было нужно лишь для самооправдания – тот самый наркоз, снимающий душевную боль. Впрочем, Уля поможет и укрепиться в решимости, женская ласка вдохновляет.

Однако произошло нечто странное. Выслушав его, Ульяна долго молчала, глядя куда-то мимо Дмитрия, потом погладила его по тыльной стороне ладони, сказала:

– Димка, мы с тобой подошли к развилке, на которой судьбу выбирают. Вопрос много серьёзнее, чем ты думаешь, он не только тебя касается, но и меня. – Помолчала. – Знаешь, не место здесь для таких разговоров. Плюнь на все дела, и давай смотаемся в Кузьминки.

В Кузьминках, в пасмурной глубине старых пятиэтажных кварталов, поодаль от метро, Ульяна сняла для них маленькую квартирку с тощей обстановкой. Улучив время, безопасное с точки зрения семейных подозрений, бывали они там нечасто, зато, по известному мужскому присловью, отрывались по полной. Ему тридцать шесть, ей тридцать – самый возраст для лукавых амугов. Именно так Дмитрий поначалу и воспринимал их отношения, стремительно завязавшиеся в бешеной съездовской суете-кутерье.

Стройная, с талией «восьмёрка», щедрой косметикой на смуглом лице, Ульяна привлекала своей энергией, общительностью и острым языком. Комбинация обстоятельств сложилась так, что межрегионалы самостийно считали её чуть ли не своим негласным пресс-секретарём. Аккредитовали Пименову через «Науку и жизнь», где она раньше работала, а этот журнал был тесно связан с избиркомом научных обществ, который без всенародных выборов открыл Заславской, Шмелёву, другим прорабам «заднюю калитку» в нардепы. Кто-то из прежних знакомых уведомил Ульяну о первой неформальной сходке боевого костяка оппозиционных депутатов, она почтила её своим присутствием и стала своей.

С этого и началась её бурная съездовская мельтешня. Пропуска в зал у Пименовой не было, она день-деньской крутилась в кулуарах, обрастая десятками новых знакомств в среде людей со светлыми лицами, глубоко внедряясь в журналистскую среду. На правах своего чело- века иногда прилипала к тайной группе мозгового штурма, которую сколотил Егор Яковлев, и однажды, когда, согласовав позиции, депутаты умчались в зал, Кедров остался с Пименовой наедине. А тут уж понятно, – слово за слово. Причем, – это Дмитрий помнил очень хорошо, – не он Улю закадрил, а она его. Сначала задержала каким-то пустым трёпом, потом, продолжая витийствовать, сопровождала по эскалаторам до балкона. Ну и пошло-поехало: люди взрослые, каждодневные общения быстро переросли в адюльтер. Она лидировала, а ему-то чего сопротивляться? Женщина красивая, неглупая, с ней, помимо прочего, и поговорить приятно.

Но неуловимо для Кедрова их отношения начали быстро меняться. Съезд завершился, а встречи не стали реже. Теперь уже он звонил ей по нескольку раз на день, а она говорила, что безвылазно сидит дома именно потому, что ждёт его звонков. После съезда Егор Яковлев предложил Ульяне работу в «Московских новостях», однако, к удивлению Дмитрия, она отказалась, предпочтя остаться фрилансером – новое словечко, только что замелькавшее в продвинутых кругах. Свободного времени у неё было с избытком, жила она не на гонорарах, не над- рывалась в поисках заработка. И их встречи стали длительными, превращаясь – опять-таки, помимо прочего – в неиссякаемые и привлекательные для Дмитрия обсуждения перестроеч- ных перипетий.

Однажды, когда он вслух высказался об этой странной метаморфозе, Ульяна обняла его, звонко засмеялась:

– Дорогой мой, если душой не зацепишь, телом долго не удержишь.

И она зацепила. Он увлечённо рассказывал ей о своих институтских делах, встречая инте- рес и полное понимание, удивляясь тому, как мгновенно схватывает и «переваривает» она новые для неё понятия. И вот, после трудного разговора с Карякиным, настало время посоветоваться с Ульяной о жизненном выборе. По пути из Переделкина в Москву он впервые жаж- дал её душевных и умственных объятий.

А она предложила Кузьминки.

Впрочем, лёгкое разочарование Дмитрия быстро развеялось, плоть взяла своё, и было у них забытие всего и вся. Но когда очухались, Ульяна приложила палец к его губам, сказала:

– А теперь, дорогой Димка, молчи и слушай. Карякинское «быть или не быть» не только тебя касается, но и меня. А-а, удивлён? По глазам вижу... Но молчишь, не вопрошаешь попусту. Молодец!

Легла навзничь, глядя в потолок, и стала исповедоваться.

– Что ты обо мне знаешь? Что я закончила журфак и работала в «Науке и жизни», что я замужем за членкором, что у меня трёхлетний сын. Что ещё? Ни-че-го. Не знаешь, что до журнала я пять лет пахала в многотиражке «Серпа и молота». Не знаешь, что замуж вышла не по любви, а из страстного желания родить... Нет, не так. Понимаешь, у мужчин имеют успех женщины либо красивые, либо умные. У красивых дур всегда всё в порядке. А умная, пусть и дурнушка, всегда с претензиями – и языками иностранными владеет, и на фортепьяно играет, и душещипательный романсик исполнит, и жеманиться умеет, и женской дипломатии обучена. Такие тоже не пропадают, перебери жён творческих знаменитостей, – частенько у них ни кожи, ни рожи. А жизнь удалась! Но если женщина красивая да вдобавок умная, это сушая беда, мужчины её как огня боятся. – Засмеялась невесело. – Когда рот начинала раскрывать, от меня стремглав бежали... И к двадцати семи разуверилась, в голове только и стучало: в девках сидеть, да чёрт со мной, но родить, родить надо, не приведи Господи бездетной остаться. Время-то не идёт, а уходит. Бегут годы! Не до прихотей. Задумала подыскать кого для тайного отцовства. А тут приносит статью автор – вальжный, с виду ни дать ни взять академик, да глаз на меня положил. И старше всего-то лет на десять. Вывеска приятная, а главное – холостой. Холосто-ой! Ну, тут я свой шанс не упустила, измором не брала, дала ему авансы. Дама не капризная, без озорных глупостей, до загса не успели добежать, как я забеременела... Лёня человек приличный, всё и пошло путём, – засмеялась, – правда, не академиком он оказался, а только членкором... И после декрета решила в журнал не возвращаться. Тихая радость семейной жизни, включая кухонные изыски. Материальная и творческая свобода. Аркадская идиллия! Прощай, базар житейской суеты. Была жизнь безнадежно-беспросветной, стала безмятежно-безтревожной. Была денежная засуха, теперь – половодье, семь вёрст до небес обещано. Живи, не гадай, что будет, береги, что есть.

Оставаясь на спине, больно ущипнула его за бок.

– И вдруг ты! И открылось мне, что всё это тщетное, что без любви жить не могу и не хочу, что до своих тридцати знать не знала, что такое любовь. Почему ты, почему сразу – будто током! – это вопросы к Всевышнему, я на них ответить не могу. Вот так, и всё! В детстве, когда гостила в тамбовской деревне у бабушки Нины – кстати, крестильное имя у неё было редкое, Неонила, а уж норов такой, что с ухватом хоть на медведя. Ну, она за непоседливость меня травами лечила – крапивой. Да, видать, не долечила. Я тебя встретила, сама на шее у тебя повисла и ни о ком другом думать не желаю, ни о своём муже, ни о твоей жене. Ни о ком! Кроме сына, конечно. Счастья хочу. А счастья много не бывает.

Рывком поднялась, села на тахту, сверху вниз глядя ему в глаза, сказала:

– Вот тебе и весь сказ. А тут твоё «быть или не быть». Да, да, конечно, быть! Куда ты денешься от этого «быть»? И я никуда от него не денусь. Но!

Вскочила, принялась быстро ходить по комнате.

– Но неужели ты не понимаешь, что «Да сгинет истина!» – это их кредо, потаённый девиз перестройки, которого они держатся по молчаливой унии? Наш не ахти какой Достоевед, не ведая того, проговорился. Да сгинет истина!

Кедров ловил взглядом каждое её движение, любовался её идеальной фигурой, и совершенство её форм мешало в полной мере осознавать, на какую глубину она вдруг нырнула. Выручало давнее правило, отработанное годами сидений на бесчисленных конференциях, заседаниях: если посторонние мысли не позволяли вникнуть в суть говорений, он включал

магнитофон, с рождения встроенный в его башку, и запоминал, запоминал. Чтобы потом воспроизвести услышанное при домашнем анализе.

А она продолжала «погружение»:

– Крест на «Пролетариях»! Каково слышать это мне, пять лет не вылазившей из горячих цехов «Серпа»? Ты представляешь, что такое волочий стан, какой это ад крошечный? Нет, у меня голова не праздная, я должна знать твоё истинное отношение к ним. Ты с ними по необходимости, от безысходности или по идейному сродству?

Это было уже слишком. Он решал для себя совсем иную задачу. Его цельная натура ни в чём не принимала раздвоения. Он не мог позволить себе тайное двоежёнство, не такое уж редкое в их среде: хорошие зарплаты и щедрые приработки позволяли кое-кому из его круга не просто иметь любовниц, а исхитриться на два дома. И он уже готовился сделать свой мужской выбор, уйти от Вари. Но после randevu в Переделкино ему предстоял и другой выбор: быть или не быть? Он знал, что выберет «быть», о неизбежности «быть» и Ульяна восклицала. Но для Кедрова это означало, что он пойдёт с Карякиным до конца, смирится с чуждым ему девизом «Пусть сгинет истина». Думать одно, а делать другое он не приспособлен, и прочь сомнения – что будет, то будет. Пусть сгинет истина! Но, похоже, у Ульяны на сей счёт иные соображения.

Он тоже поднялся с тахты.

– Ты хочешь сказать... Ты хочешь сказать, что не разделяешь идеалов перестройки. Но ты же... Ты рьяно работаешь на межрегиональную группу. Ты двурушничает?

Они стояли глаза в глаза, понимая, что осмелились заглянуть друг другу в бездонную глубину души. Такие роковые, одухотворённые мгновенья выпадают нечасто и далеко не всем. В такие мгновенья рушатся или создаются судьбы. Рушатся обвалом, погребая под собой будущее, обрекая на пожизненные раскаяния, или создаются во имя обретения великого счастья.

– Помолчи. Слушай.

И опять начала ходить по комнате, но уже медленным шагом, в такт своим словам.

– Димка, мы же с тобой люди грамотные. Мы знаем, что венгерское восстание 1956 года возглавили бывшие коммунистические лидеры. Помнишь Надя?

– Помнить я его не могу, мне было три года. Но изучал.

– А пражскую весну 1968 года кто возглавил? Дубчек, тоже бывший партвождь. – Он хотел ответить, но она резко возразила: – Ты же обещал молчать!.. Да ведь и перестройку кто возглавил? Тоже коммунистические лидеры! А упрекнул за измену идеалам – что за беда! Объяснение проще некуда: оказывается, они всегда были противниками диктатуры пролетариата и делали карьеры в ожидании момента, когда смогут говорить искренне. Я ничего не напутала, Димка?

Это было забавное зрелище. Обнажённые мужчина и женщина, беспорядочно расхаживая по комнате, горячо обсуждали суть мироустройства. Трудно было представить более экзотическую обстановку для столь возвышенных дебатов.

Наконец Ульяна остановилась и как бы подвела итог:

– Я не собираюсь судить-рядить, допустимо такое в политике или нет, приемлемо сие или же отвратительно. Мой вопрос в другой плоскости, и ставлю его в общем виде. Если в недрах компартии могли делать карьеру те, кто готовил её разгром, то почему в недрах перестроечных гонителей истины не могут произрастать могильщики тех, кто плюёт на истину? Ты меня понял?

Кедров вылупил глаза.

– Ты... Ты засланный казачок? Что у тебя на уме?

Она рассмеялась:

– Димка, ну о чём ты говоришь? Кто меня заслал, кто напутствовал? Я просто изливаю душу. – Воскликнула: – Никогда, ни с кем не была так откровенна, как с тобой! Сама с собой

так не откровенничала. А ты мне душу словно штопором открыл. Это не я, не я, это Лев Толстой сказал. Понятия не имею, что дальше будет, планов ни малейших. Просто кричу о своём отношении к нынешней жизни. Димка, это так сладостно – полностью распахнуть душу, ни в чём себя не сдерживать, слов не подбирать. Стою перед тобой голая не только снаружи, но изнутри тоже, и знаешь... Боже, как это упоительно – сбросить шелуху условностей и притворства, быть самой собой, не опасаясь предательства! Теперь ты понял, как я тебя люблю, как тебе верю?

Дмитрий совсем оторопел. Он с прозрачной ясностью понял, что уже не отпустит от себя Ульяну, что судьба нечаянно наделила его встречей с незаурядной женщиной, с той единственной на белом свете, которая способна одарить его великим и редким счастьем большой любви. Да, с тем, что в обиходе принято называть «чувствами», теперь всё предельно ясно, тут антимонии разводить незачем. Но именно это внезапное озарение тревогой сдавило душу: он не умеет, не может, он не создан для того, чтобы думать одно, а делать другое, он глуп, прямолинеен, примитивен – что угодно! – но её взгляд на жизнь для него неприемлем. Он человек «или – или». Совместимы ли они?

– Что ж, придётся и мне раздеться перед тобой догола...

– Между прочим, костюм Адама тебе идёт.

– Тут не до шуточек, Уля. Если я выбираю «быть», а иного в нынешней жизни мне, увы, не дано, ты сама об этом сказала, то служу делу верой, правдой и по совести. Для меня выбор – как религия, раздваиваться мыслями не умею. О чём, скажу искренне, порой сожалею. Потому что иногда мечусь мыслями, сам себе свободного хода не даю. Но таким меня мать родная да господь Бог сотворили, и ничего не поделаешь. – Горько выдохнул: – Мы с тобой по психотипу антиподы. Как быть, как жить? Греческая трагедия...

Ульяна радостно рассмеялась, бросилась ему на шею.

– Урра-а! Это то, что мне нужно, я тебя сразу угадала! Оставайся таким, какой есть, не двоись. Пойми, Димка, мы с тобой по-разному принимаем элитарную перестроечную кухню. Ту среду, в какой варюсь, я в душе ненавижу. Ненавижу эту демократическую стаю, эту сволочную новогазетчину, этих лицедеёв, этих горбачёвских подвывалыщиков, насквозь вижу их политические ужимки и прыжки, большевизм шиворот-навыворот. Замутить народ хотят. Элита предателей! Кроме карьерных чаяний, и нет ничего. Ты же понимаешь, они все на подкормке. Но работаю на них исправно. – Смешно поморщилась. – Вообще-то с ними не так просто, люди пёстрые, книжно-словесные, со следами интеллекта на лицах. Помню, Егор родил очередную идею по части умножения газетного тиража, но она не прошла юридическую экспертизу. Он и говорит: «Наймите других юристов». Ты всё понял? Чуть что не так, – отчаливай, не нужен. Вот я и приспособилась. Чем я хуже того же Егора Яковлева, который Ленина славил, премию за это отхватил?.. Вот и получается, что мы в оценках этой публики разнимся, но в одну сторону будем грести, дело делать общее, да на совесть. – Сказала слегка нараспев: – Быва-ают странные сближенья. И какое же это счастье – не таить искренние мысли в глубине сознания, а вот так, откровенно, не опасаясь, не стесняясь наготы душевной, говорить о них с близким человеком. Урра-а!

Вдруг отступилась и с наигранным возмущением воскликнула:

– Димка, да что же это такое? Мы с тобой с ума посходили. А ну-ка, в постель!

14

Кандидатскую диссертацию Мартын защитил давно. Под неумолчным напором своих замов, убеждавших, что учёная степень нужна не самому соискателю, – ни в коем случае не вам, Глеб Сергеевич! Упаси боже! – а для отпора чиновным и научным оппонентам, вечно вставляющим палки в колёса инженерному люду. Зудели так, что в ушах звенело, особенно на неформальных посиделках по случаю награждений или запуска в серию новых изделий. Ещё в 60-х Глеб сдался, но поставил условие: идеи и смыслы изложу сам, а текстовое оформление и прочие диссертационные прибабасы, уж будьте добры, поручите, кому знаете.

В 70-х, когда остепеняться бросился высокочинный люд и в моду вошла докторская, став плюсовым анкетным пунктом при назначении на должность, Мартына принялась обхаживать хитроумная министерская братия – степень нужна из престижных для отрасли видов. «Для красивых отчётов – понимал Глеб. – Вот у нас какие директора!» Уж как наседали, о диссертации и защите предлагали не беспокоиться, – учитываем, Глеб Сергеевич, вашу занятость, предоставьте решать этот вопрос нам. Но на сей раз он не дался, категорически пресёк пустые разговоры.

Нежелание лезть в доктора с чёрного хода было стойким. Много приходилось Мартынову общаться по ракетным делам с блестящими научными умами, и он не мог позволить себе опозлать учёное звание. В академических кругах был своим человеком, с президентом Академии, трижды Героем соцтруда Александровым, состоял в приятельских отношениях. Когда Анатолия Петровича удостоили Ленинской премии по военной науке и технике, был на скромном домашнем торжестве, в его коттедже – рядом с Курчатником, – где в прихожей гостей встречало чучело огромного страуса.

После завода Мартынов пришёл в Пилюгинский институт – системы управления ракетами – замом по внедрению. И в то воскресенье ждал в гости коллегу, зама по науке Краснопевцева. Леонид недавно вернулся из Воткинска и шепнул, что должен кое о чём рассказать, – не в кабинетной ауре.

По договорённости прибыл Краснопевцев с женой. Красивая, фигуристая, лицо – в изящной, неярко «боевой раскраске», одета стильно, однако неброско. При знакомстве с лёгким укором в адрес мужа благодарила:

– Спасибо, Глеб Сергеевич. Если бы не ваше приглашение, наверное, меня не вывели бы в свет.

– Да уж ладно тебе, ты со знаменитостями общаешься, а вокруг меня сплошь секретчики, разговоры скучнее некуда, – добродушно отозвался Леонид.

Когда сели за немудрёный лёгкий перекус, Мартынов, создавая непринуждённую атмосферу, пошутил:

– Ну что, опять от Адама начнёшь? Знаю тебя, без предыстории до сути добраться не можешь, пока все «про» и «анти» не изложишь, главного не скажешь. Академическая школа.

Леонид и впрямь прежде всего нырнул в историю вопроса. Детант давно испустил дух, но сегодня на повестке дня новые договоры по стратегическому вооружению: эпоха сдерживания.

– Ты кому рассказываешь? Своей жене?

Краснопевцев рассмеялся:

– Глеб Сергеевич, она эти вопросы лучше нас с вами знает. Вы в том правы, что я по привычке от Адама начал. А если о главном... Система контроля тревожит, вот в чём вопрос. На великого нашего Петра Ильича Чайковского супостаты заокеанские замахиваются.

Мартынов понял суть дела мгновенно. В кругах ракетчиков имя Чайковского служило образным обозначением уральского Воткинска, где родился великий композитор и где теперь делают наши главные ракеты. И верно, Леонид кратко изложил суть своих тревог: в Воткинске

ходят упорные слухи, что на заводе введут американский наблюдательный пост, их спецы станут досматривать каждое изделие, по цехам шастать, во всё нос совать. Воскликнул:

– Да что же это такое, Глеб Сергеевич! Не слишком ли высоко Горбачёв юбку задирает?

– Да он её уже выше головы куполом держит, чтобы ничего ни видеть, ни слышать. И Шта-там показывает, чтобы с ним не стеснялись. Вот они на стратеги и замахнулись. Воткинск! Там покруче моих делают! – В Мартыне всё ещё жил директор завода. – Будут ждать, когда по регламентным срокам «Сатану» спишут и выкатят шантаж: стоять по стойке «Смирно», не то так засадим, что до гланд достанем. Извините, Ульяна, за солдатский юмор. Я солдатом начинал, по-солдатски до седых волос и рублю.

Ульяна только рукой махнула.

– Господи, для моего слуха такой лексикон – что песня. Леонид не даст солгать.

– А ты, дорогой мой членкор, читал, что американцы недавно заявили? Помощь реформам Горбачёва – это инвестиции в американскую безопасность! Каково? Уже не шифруются, не стесняются свои интересы выказать. Полный регресса!.. Ладно, хватит скулить без толку. Поведай-ка лучше, какие у вас в Академии настроения.

Краснопевцев задумался.

– Неладно, Глеб Сергеевич, в научном мире. Вы наверняка знаете, что было перед выборами нардепов?

– Знаю, что на оборонных заводах возмущены. А в Академии что?

– Сложно. Снизу в депутаты от общественных организаций кого выдвинули? Великих стариков, академиков, чьими мозгами и трудами поднялась страна, которые и сегодня тащат на своих плечах воз науки, особенно прикладной. Сейчас они наше спасение. SOS!

– Что значит SOS?

– А ты, Уля, по-аглицки произнеси. Получится: «Медленнее, старше, умнее». Это известный научный мем... Так вот, а что же вышло? Какой шум грандиозный поднялся! Газеты с ума сходили, митинги, многотысячные шествия.

– Ты, верно, знаешь, что от нашего института целая колонна эмэнэсов маршировала? – поддакнул Мартын. – Батыгин своими бреднями завёл народ, все и всполошились.

– Батыгин, – у него прозвище Ураган мата, очень уж ругачий, – он тот ещё вяземский пряник. Вроде бы мужик толковый, недавно диссертацию защитил с блеском, и не могу взять в толк, чего он, не спросясь ума-разума, так увлёкся политической шелухой. Я его пригласил побеседовать, но получилось час битый ни о чём. Ну, Бог с ним... Вы, Глеб Сергеевич, их плакаты-лозунги видели? Долой старперов, спящих в академических креслах, переживших свой век, не понимающих смысла исторических перемен. Артель долгожителей! Динозавры! И прочая пафосная ерунда, включая словесные непристойности. Сегодня в депутаты надо молодых прогрессистов, прорабов перестройки. В общем, сломали Стёпина, философа, председателя комиссии по выборам, на регламент наплевали и всё заново переиграли. И кого эти физики-шизики навывирали? А вернее сказать, назначили? Из подавляющего меньшинства нацедили самую шумную кучку особо одарённых гуманитариев: Шмелёва, Карякина, Заславскую и тэдэ. Они теперь играют белыми, им праздник. Ребята задорные, вокруг них много недоумений, непониманий. В жизни они устроены лучше некуда, а недовольством пышут, словно ущемлены в правах. Всё у них в обвинительном падеже.

– Я так понимаю, что в отделениях естественных наук зреет недовольство?

Краснопевцев пожат губами, побарабанил пальцами по столу.

– Эх, да как бы, Глеб Сергеевич... А с гуманитарными отделениями вообще непорядок, очень уж много высоких персон – самых высоких! Перестроечных! – рванулись в членкоры, а то и выше. Даже новое отделение мировой экономики недавно учредили, и все понимают, под кого... Под историка, прихрамывающего... экономика под историка... Но, знаете, есть один деликатный, негласный вопрос, который предпочитают замалчивать. – Опять побараба-

нил пальцами. – На словах архитекторы перестройки нас ударными дозами толерантности пичкают, а на деле степень взаимного отчуждения нарастает. Кто у нас, Глеб Сергеевич, считался научной элитой? Академики, которые после войны двигали науку, позволив расщепить атом, покорить космос, ракетный щит родины обустроить. Но сейчас их – в утиль, причём контрэлита возрастает не на научных заслугах, а на повышенном, «сделанном» общественном интересе. Я бы даже сказал, не сделанном, а поддельном. Контрэлита мелких честолюбцев, лилипуты при Гулливере.

– Не скажи, Лёня, не мелких, не лилипуты, – подала голос Ульяна. – Игра идёт по-крупному, речь не только о научной элите. – Повернулась к Мартыну. – По журналистскому профилю я вращаюсь в среде, о которой говорит Леонид. И могу свидетельствовать, что замах круче: идёт набор в новую государственную элиту, которая готова возложить на себя заботы о будущем страны и уверена, что войдёт в историю. Публика яйцеголовая. Извините, Глеб Сергеевич, за высокопарный слог, но я нарочно – чтобы передать настроение этих людей. Правильнее сказать, нового интеллектуального бомонда, воротил общественной жизни. Очень, кстати, ретивых, считающих, что они призваны сказку о рыночном комфорте сделать былью. – После секундной паузы добавила: – Ретивых и... чванных поборников западных идей.

Мартын поднял брови, внимательно посмотрел на Ульяну. Непростая дамочка... Вспомнилось, как они с Кондратом после смерти Брежнева гадали о судьбах сталинской элиты, кривились на номенклатурную элиту, которую возвеличил Хрущёв, но, конечно, не могли предсказать, что те, кто через пять лет с западной поддержкой рванётся в перестроечную элиту, станут «инвестицией в американскую безопасность». Уж он-то, Глеб Мартынов, матёрый оборонщик, хорошо понимал, чем аукнутся для России такие «инвестиции».

Между тем Ульяна, повернувшись к мужу, с очаровательной улыбкой, как бы в шутку, снова упрекнула его:

– Дома ты мне про академические дела не рассказываешь. Слава богу, в гостях кое-что слышала. – Краснопевцев отмахнулся, и она спросила уже серьёзно: – Кстати, ты говорил, что ставку делают на молодых прогрессистов. Но Заславской, кажется, под шестьдесят, вдобавок академик. Внешне всё в норме.

– Ну, Заславская – это разговор особый. Фигура заметная, на телевидении звездит, в газетах мелькает, колокольно звучит. Но неоднозначная, вернее, многозначная, вокруг неё вкривь, вкось и впрямь разговоры идут. В отделении философии и права такие страсти бушуют, что ни приведи Господь.

– По поводу её статьи о стратегии социального управления?

– Статью не читал, хотя слышал, будто бы это скользкое многословие с обилием модных слов. Скандал по другому поводу: Заславская объявила себя родоначальницей новой области знаний – экономической социологии. Но группа докторов прислала в Академию и в отдел науки ЦК телегу, что она позаимствовала идею у какого-то американца, чуть ли не буква в букву. Представили перевод книги, откуда всё списано. Научный плагиат высшего пилотажа. Деталей не знаю, но в Академии шум до небес.

– Относительно громкой статьи я газетные восхваления видел, – включился в разговор Мартын. – Но по части скандала в Академии ничего не читал.

– Да в том-то и дело, Глеб Сергеевич, что на верхах очень уж заботливо её оберегают, это и смущает. Носятся с ней как с писаной торбой, поговаривают, что из ЦК запретили газетам писать о плагиате. Если, конечно, он был, наветы, передёргивания тоже не исключены. Кто свят? Но разобраться не дают, диалога не предлагают, а сама Заславская отмалчивается. О перестройке – интервью за интервью, а что до обвинений в плагиате, то она, как у нас говорят, летит ниже радаров, её не видно, не слышно. Мутная история.

– Лёня, а вообще-то какое в академической среде мнение о Заславской? Если по-крупному? – Было видно, что Ульяна вцепилась в тему.

Краснопевцев скренделил на груди руки, надолго задумался.

– Я от социологии далёк. Но в перестройку Заславская заявила очень уж заметно, её имя у многих на языке. И люди судачат, что она всегда занималась научным обоснованием желаний власти. Да, именно так – не пожеланий, объявленных публично, а именно неизречённых желаний. Угадывала и сразу прикидывала, что к чему. Глеб Сергеевич, вы должны понимать, о чём я. Помните, как Челомей с Янгелем по стратегическому изделию бодались?

– Ещё бы!

– И наверняка помните, в чью пользу шёл из ЦК нажим, как оборонщики противились. А Заславская никогда с властью не препиналась, у неё искра божия угадывать намёки власти, даже невнятные, и научно их обосновывать. Шикарные костюмы к рукавам пришивает. Говорят, очень уж она ретивая – верное слово нашла Ульяна! – по части обслуживания верховных прожектов, умеет пенки-сливочки снять. На этом себе имя и составила. – Вдруг засмеялся. – Кстати, Уля, мне один академический остро слов о её статье так сказал: цыганочка с выходом! Лихо, мол, сплясала перед архитекторами перестройки. Ну, это я так, по ходу.

– О-очень интересно! – воскликнула Ульяна. – Этой метафорой всё о Заславской сказано.

– А ты сама посуди. Предмет у неё самый-самый – социология! Ссылается на мнение населения, транслирует настроения ширнармасс. Это же какой козырь для верхов! Потом выясняется, что решения боком вышли, а у Заславской обряд омовения рук: я непричастна, я лишь высказала свою точку зрения, за ошибки пусть отвечают те, кто решения принимал, подписи ставил и печати штамповал. О, вспомнил! Есть ещё одно «кстати». На той неделе мне сказали, что оппоненты вот-вот выкатят какой-то её крупный грех по части неверных научных подсказок. В общем, относительно этой дамы могу сказать так: понимание всего сущего, в том числе и людей, меняется с накоплением фактов. За ней знаешь какой образ закрепился? Золотая монета с гладким гуртом.

– Это я не очень понимаю.

– Ну, золото вроде настоящей пробы, а ребро, гурт без насечек, и, значит, монета либо поддельная, либо памятная, не для обращения.

– Здорово придумали! Умный человек не может быть не плутом, – засмеялась Ульяна. – Классика грибоедовского жанра.

– Не многовато ли в раз про эту Заславскую, – прервал Мартынов и сменил тему. – Лучше скажите, что теперь с деньгами будет.

– Какими деньгами? – уставился Леонид.

– С государственными! А ты думал с твоими-моими? Ваши академики такой хозрасчёт придумали, что идёт мощнейшая перекачка безналичных денег в наличные. Людям выплачивают незаработанные рубли, их покупательная сила каждодневно падает. Меня, старого производственника, от таких порядков в дрожь бросает. Дело сумасшедшей инфляцией кончится, не иначе.

Краснопевцев про денежное обращение понимал не очень, а Ульяна в таких вопросах и вовсе плавала. Но, к удивлению Мартына, оба зажглись интересом, и он на пальцах разобрался, к чему ведут безумства подпевающих Горбачёву академиков во главе с Шаталиным, которого уже числят личным экономистом Генсека. Потом вроде бы в шутку, а на деле всерьёз, рассказал старую цирковую притчу.

– У молодого дрессировщика тигры начали на арене шалить, и он испросил совета у старшего коллеги. А тот и бровью не ведёт, говорит: всё проще простого. Сделай для тигров тумбы поуже, пусть они ёрзают, как бы не упасть. Им не до баловства станет. – И после смешков-улыбок обратился к Ульяне: – Вот и перестройщики так озаботили народ, что он только о хлебе насущном и думает, ему уже не до кулинарных споров. Через новшества его каждый день то пинком, то подзатыльником потчуют, а всё равно по мозгам бьют. Думаю, вы меня поняли... Я, уважаемая Ульяна, всю жизнь в реальной экономике, понимаю, к чему дело клонится. Вот

шахтёры касками на Горбом мосту стучали, газеты этот шум колокольным звоном нарекли. А колокол-то погребальный, по самим шахтёрам звонит.

Когда гости уехали, Глеб убрал со стола, быстренько ополоснул посуду, позвонил Наташе в Москву, отчитавшись за полный порядок в доме, и привычно уселся в плетёное кресло-качалку. По спортивной терминологии это был его «снаряд» для выполнения головоломных упражнений – при ритмичных движениях хорошо думалось.

А ускоренный бег перестроечных дней давал пищу для размышлений.

Люди, посвятившие жизнь ракетному делу, почти всегда – с «философской жилкой», ещё от Циолковского так повелось. Кстати, Циолковского Мартын почитал равным Ньютону, из той же гениальной породы: один открыл закон земного тяготения, другой нашёл способ его преодоления. Что бы ни придумывал Жюль Верн, из пушки до Луны не долетишь, а ракетой и до звёзд достанешь, – как тут не проявлять интереса к общим категориям, заглядывая в бездонную глубь и необъятную высь мироздания?

Впрочем, Кантом-Гегелем Глеб не интересовался, ему с лихвой хватило давнишних, ещё в 50-е годы, занятий в сети политпросвета, где терзали тарабарщиной диалектики. Но не просто делал ракеты, а тяготел к осмыслению стратегических идей безопасности – должность обязывала. И в последние годы, чуя неладное, мучительно пытался постичь, что на деле кроется за присловьем Горбачёва «процесс пошёл». Какой процесс? Куда пошёл? Зачем? По правде говоря, из директоров Мартынов эвакуировался не из-за того, что стеснялся выборов, – стояла бы перед заводом задача по новому изделию, в два счёта сломал бы любого неформала, никто и не пикнул бы. Но... Там, на верхах, всё расписано. Непобедимый криком кричал: «Сдавать «Оку» нельзя, это измена!» А Горбачёв эту ракетную систему сдал, просто так, без взаимности, как подарок Бушу. Мало того, вопреки отчаянному сопротивлению Генштаба, в угоду американцам снял с производства и «Осу» – новейшее, неотразимое оружие ближнего ракетного боя. А Лигачёв, которого бросили на сельское хозяйство, жёстко начал ладить вместо ракет линии для сбора яиц от фабричных несушек. Лично прибыл пощупать опытный образец.

Глеб Сергеевич Мартынов это новое поветрие принять не мог. Душа восстала так яростно, что однажды, впервые в жизни, проснулся от ночного кошмара. Причудилось, что ключи от дома потерял, не от замка, а от дома, от жизни, и не может войти в самого себя, мечется. Вещий сон!

Нет, не желал он принимать участие в разрушении того, что создавал всю жизнь.

И вот теперь – американцы в Воткинске. А Воткинск... Ракетная отрасль росла на глазах Мартынова. Он помнил, как на базе 88-го артиллерийского завода предвоенных времён возник головной ракетный институт НИИ-88, как стремительно набирал мощь его концерн. И понимал, что Горбачёв намеренно губит ракетное дело.

Глеб уже давно считал его по меньшей мере умным дураком, не желая смириться с тем, что во власти теперь чужие. Новое мышление Генсека, которое он вывалил с трибуны ООН, ставило общечеловеческие ценности выше национальных интересов, а его мессианские мечтания о всемирном примирении отвергали баланс силы, который зиждился на ракетном сдерживании. Отказ от идейного стержня во внешней политике стал, по раздумьям Мартынова, прямым предательством. Пока Горбач приносит интересы страны в жертву общечеловеческому благу, Штаты под шумок славословий и пафосной лести в его адрес потирают руки, убирая с глобуса главного конкурента, – вот уже и до Воткинска добрались.

Велеречивый выскочка, возомнивший себя вершителем мировых судеб? Возможно. Однако есть один вопрос, который для Мартына был самым болезненным.

Глеб поднялся с качалки, принялся неспешно расхаживать по комнате. Ладно Горбачёв, одуревший от мировой славы, одну за другой дарит Штатам стратегические уступки. Но ведь не сам же он измудряется на антигосударственные пакости-подлости, есть же рядом команда, которая подбрасывает идеи вселенского масштаба. И уж они-то, в этой команде, отлично пони-

мают, к чему идёт дело. Нет, иначе: наверняка они хорошо знают, к чему ведут дело. Снова свербила в голове мысль, которую когда-то обкатывали они с Кондратом: всё-таки прорвалась к власти элита, готовая сдаться на милость западному образу жизни и бросить к его ногам великую страну. В памяти Мартынова, участника Парада Победы, когда к подножию Мавзолея швыряли повергнутые фашистские штандарты, стоял именно тот образ позора поверженного врага. И сама мысль о том, что теперь новоявленная кучка привластных интеллектуалов, которую возводят в ранг национальной элиты, под обманными лозунгами перестройки бросает славные русские знамёна под колесо истории, была трагичной. А Воткинск – да, наше знамя боевое, гарантия стратегической безопасности.

Ускорил шаг, в бессильной злости из угла в угол метался по комнате. Сволочи! И вдруг обожгло: «А если под статусом новоявленной элиты орудует тайная группа особых интересов? Если во власти Пилаты и Иуды?»

15

Чудны дела твои, Господи!

Десятилетиями беспощадный к любой искре инакомыслия, цековский Агитпроп возвращал свирепую цензуру, которая с пристрастием блюла строгую политическую нравственность. И до такой степени изощрился Главлит, искоренявший непотребные публичные изыски, что – уму наперекор! – требовал литовать даже надгробные эпитафии не лояльным власти покойникам. Удивительно ли, что столь жёсткий надзор за свободной мыслью ещё в 60-х породил ответ, в традициях народного краткословия названный самиздатом. Тысячи самостийных машинисток возраста от юного до преклонного, за плату или по душевному влечению, в тиши ночей или в тоске пенсионных будней, тайно, словно азбукой Морзе, выбивали на пишущих машинках запретные тексты; копировальная бумага шла по разряду дефицита. А кагэбэшная Лубянка, чьё приметное здание хорошо просматривалось из агитпроповских окон на Старой площади, исправно отлавливала диссидентов, промышлявших самиздатом.

И вдруг, в какие-то два-три года, по историческим меркам в одночасье, цензурная удавка ослабла до такой степени, что главреду «Московских новостей» Егору Яковлеву с личного дозволения архитекторов перестройки удалось добиться отмены предварительной цензуры. Гласность торжествовала, страна неудержимо рвалась к демократии, к плюрализму мнений, к свободе печати.

Но известно, есть у переломных исторических эпох некая особенность: переустроители жизни, жаждущие быстрого идейного слома, всегда беспринципны и, призывая к новшествам, на деле используют как раз те догмы, которые свирепо осуждают. В результате реформаторские недра неизбежно сотрясают глубинные скандалы. Они не колеблют поверхность суетливой повседневности, а потому не удостоены внимания современников. Их символический смысл открывается лишь потомкам, распознающим по таким эксцессам – иначе о них и не скажешь – особую степень коварства политических затейщиков. Мировая история пронизана этими тайными порочными изъемами, изъедающими среду торопливых обновителей жизненного уклада.

Случился такой скандал и в перестроечных недрах. Кто бы мог подумать, что прорабы, звавшие к свободе печати, своим перестроечным рвением поспособствуют возрождению славного русского самиздата? Самое же поразительное, даже фантастическое заключалось в том, что возродил самиздатовскую стихию цензурный раж тех же людей из тех же агитпроповских кабинетов Старой площади, которые раньше пестовали Главлит, но потом лукаво переобулись в воздухе и громко ратовали за отмену цензуры. Однако, едва дело коснулось их интересов, они тайно отбросили демократические лозунги и со страстью взялись за прежнее, за привычное для них «держать и не пущать».

На сей раз негласно.

Это было нечто фантазийное. Глубинный, внутренний скандал оказался связан с острой необходимостью на корню задавить угрозу развенчания научного авторитета академика Заславской. «В миру» немногие знали, что именно она играла ключевую роль в замысле предстоящего идейного слома. Именно компетентным научным мнением Татьяны Ивановны архитекторы перестройки обосновали решающие социальные сдвиги, на деле означавшие... да, да, всего-навсего смену общественного строя. Ведущий социолог страны, Президент советской социологической ассоциации, директор знаменитого ВЦИОМа, Заславская была фигурой знаковой, в пропагандистском плане «священной коровой». Она держала в руках всю сферу социологии, включая печатные издания, она не позволяла «высунуться» коллегам с иной точкой зрения, предваряя и венчая своим веским словом дискуссии о социальных вызовах перестройки. Крах её научного авторитета позволил бы обществу услышать поперечные мнения, и

это могло подорвать концепцию идейного слома, основанного на поношении прошлого и производстве иллюзий о западном образе жизни.

Чтобы снять угрозу, архитекторы перестройки, не поперхнувшись, избрали испытанный метод своего цековского прошлого – погребение умолчанием.

Между тем группа профессоров Ленинградского университета, в том числе заведующие социологическими кафедрами, посмела бросить тень на безупречную научную репутацию Татьяны Ивановны, обвинив её в грехе обвального плагиата. Они утверждали, что Заславская беззастенчиво заимствовала чужие идеи. Письмо профессоров, поступившее в ЦК КПСС, – копия в Президиум Академии наук, – категорически нельзя было предавать гласности. Для газет, противостоявших Горбачёву, институт цензуры формально ещё не был отменён, и его действовали в полную силу. А для «Московских новостей», «Огонька» и других демократических изданий хватило телефонного намёка на важность глухого молчания.

Эта политическая извращённость транзитных лет с её вывертами и возродила самиздат. В столицах письмо ленинградских профессоров о научной нечистоплотности Заславской, а попросту – о шулерском вольте маститого академика, широко ходило по рукам, вызывая крайнее недоумение просвещённой публики.

Письмо начиналось оглушительно:

«Заславская о создании ею новой области знаний заявила в статье «О предмете экономической социологии», помещённой в издаваемом под её редакторством журнале «Экономика и прикладная социология». (Выпуск 1. 1984.) Эта статья, однако, вышла на пятнадцать лет позднее, чем аналогичная работа американского социолога проф. Н. Смелсера «Социология экономической жизни», опубликованная в книге «Американская социология». Эта книга была издана в США в 1968 году и переведена на русский язык в 1972 году... Идеи Смелсера в области социологии экономики были заимствованы Заславской без ссылки на работы Смелсера».

Авторы письма приводили данные, что в СССР социальное планирование, авторство которого присвоила себе Заславская, «на практике начиналось в Ленинграде». А в приложении на 14 страницах машинописного текста цитатами показывали, что «Заславская заимствует не только общую формальную методологическую установку, но и концепцию ролей как исходную для социологического анализа... Заславская сконструировала свою экономическую социологию из материалов одного источника – статьи, написанной Смелсером».

В научных кругах письмо ленинградских профессоров вызвало шок. Это был политический Чернобыль с высокой дозой консервативного облучения.

А вскоре досадливо сработало и старое русское правило «лиха беда начало». В самиздате всплыло письмо четырёх докторов философии, которые обвинили Заславскую, «сосредоточившую в своих руках руководство или членство во множестве учреждений, советов, редколлегий и т. д.», в неприятии критики и научном монополизме – это был прямой выпад против её цековских опекунов. Авторы письма по косточкам разбирали путаные, сомнительные цитаты из статей Татьяны Ивановны. Особенно досталось той, что из сборника «Иного не дано». Философы писали: «Заславская выводит за рамки активных сил перестройки десятки миллионов пенсионеров, а различным слоям крестьянства в её схеме места вообще не нашлось». В качестве примера грубого подавления альтернативных мнений приводилась судьба социолога-аграрника В.И. Староверова, которого Заславская третировала много лет. И, наконец, – вишенка на торте! – Великим постом титулованная учёная дама заявила, что необходимо немедленно в 2–3 раза повысить цены на продовольствие. Шум после скандального академического требования поднялся до небес, и «17 февраля 1988 года по московской программе телевидения Заславская отказалась от своего предложения как несвоевременного, но необходимого в ближайшей перспективе, и следовательно, отстаивая ошибочную направленность своей рекомендации».

Имя академика Заславской становилось одиозным. Цековские стряпчие, которые со страстью мирволили Татьяне Ивановне, всполошились.

Главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев – в Учредительный совет газеты вместе с архитектором перестройки Яковлевым входила Заславская – понимал, что пришло время свистать всех наверх. И первым делом позвонил старому другу Борису Грушину:

– Боря, ситуация критическая. Ты в курсе, что происходит? Того и гляди, эта мышьяная возня, профессорская клоунада вызовет такие аплодисменты, что мама не горюй. Дело табак. Ты же понимаешь, с чьего голоса они поют. Надо отбить нападки. Как сподвижник Татьяны Ивановны ты должен сказать своё громкое слово в её поддержку. К твоему мнению прислушаются. Ты у нас о двух головах. Только ты можешь с толком, с расстановкой просклонять этих умников по всем падежам. Ставлю твою статью в следующий номер.

Грушин молчал.

– Боря, ты понял? В следующий номер.

– Егор, ты же знаешь, я не люблю включаться в политические сюжеты, у меня есть работа на своём поле.

– Какие политические сюжеты? Началась травля выдающегося социолога, это вопрос нравственный. К тому же ты прекрасно знаешь, что Татьяна Ивановна у нас на пропагандистском спецобслуживании.

Но Борис не поддавался. У заядлого анекдотчика Грушина всегда был под рукой нужный случай.

– Слушай, мне вчера анекдотец рассказали, как раз в тему. У Мойши умерла горячо любимая жена, и он пришёл к рэбе посоветоваться, как ему теперь жить. Рэбе и говорит: это бывает, через год горечь утраты утихнет, вы утешитесь и вернётесь к нормальной жизни. Мойша отвечает: через год! Но что мне делать сегодня вечером? Егор, ты меня понял?

Анекдот был неоднозначный, с типично грушинской изнанкой. Похоже, Борис инсинуативно и деликатно намекнул, что не слишком уж и переживает по поводу нападок на Заславскую.

Но Яковлев продолжал напирать. В ход пошла тяжёлая артиллерия:

– Чёрт побери! Мы не вправе допустить, чтобы эти гробы поваплённые опорочили Татьяну Ивановну. Всё не так просто. Как пить дать, эта красная профессура вчерашний день ищет. Боря, отведи на них душу! Я жду.

Грушин снова замолчал. Потом гмыкнул и твёрдо ответил:

– Егор, не жди, статьи не будет. До встречи.

С Заславской у Грушина было непросто.

В 1983 году, очухавшись после смерти Брежнева, на Старой площади засуетились по части заимствования на Западе «кусочка демократии»: Пленум ЦК, через опасливые закулисные сомнения, что называется, скрепя сердце, повелел создать чуждую для советской системы структуру под названием Всесоюзный Центр изучения общественного мнения. И Отдел науки ЦК принялся сколачивать рабочую группу для подготовки «бумаг» по щекотливой проблеме – наверху понимали, что массовые анонимные опросы, выявляющие глас народа, могут стать детонатором всеобщего недовольства.

Первой, как и следовало ожидать, всплыла кандидатура Бориса Грушина, которого в ЦК хорошо знали три отдела. Международники дважды посылали его в журнал «Проблемы мира и социализма», что само по себе говорило о полном доверии. Вдобавок Борис не затруднился так глубоко изучить пивную и банную культуру пражан, что между делом сочинил смешную книжонку под названием «Истина в пиве», которая весьма позабавила московских кураторов, – свой парень!

Иначе воспринимали Грушина в Агитпропе. Ещё в 70-х наделал шуму его знаменитый «Таганрогский проект», который через тысячи ответов на хитрые, тонкие вопросы позволял, как говорится, отличить голодных от голодающих и раскрыл такую шкалу народных ожиданий,

что в ЦК поспешили поставить на нём гриф «ДСП» – для служебного пользования. В те же годы Грушин так энергично «полез» на телевидение, что до беседы с ним снизошёл тогдашний шеф ТВ Лапин. Борис Андреевич предложил ему новшество – систему оценки зрительских симпатий, в 80-х названную рейтингом передач. Результат беседы был, по оценке Грушина, восхитительный.

В ту пору властители дум, как самонадеянно именovala себя благополучная передовая интеллигенция, часто собирались на квартирах – не на кухнях, как в 60-е, в эпоху безмолвия, а именно на квартирах, – чтобы говорливо отвести душу в откровенном трёпе, а порой и безудержном зубоскальстве. И на одном из таких весёлых заседаний, после визита к Лапину, который он с юмором назвал «посиделками на электрическом стуле», Борис хохотливо поведал друзьям:

– Бесподобный Лапин меня в капусту изрубил. Говорит: «Зачем выяснять, что люди смотрят по телевидению, если нам и без того известно: они смотрят то, что мы им показываем».

Но неведомо было Грушину, что после той беседы крутой Лапин в категоричной манере изложил нелестное мнение о нём агитпроповскому куратору телевидения Грише Оганову – да-да, Грише с его вечно скептической полуулыбкой, Грише, с которым Боря лет пять хлеб-соль водил в «Комсомолке». А болтун и жополиз Гриша, увы, был не из тех, кто не сдавал своих, он довёл до нужных ушей, на кого изволил гневаться Лапин. В общем, по совокупности «кейса» в Агитпропе с давних пор к Борису Андреевичу относились настороженно.

А в отделе науки колебались. Там знали, что Грушин – первейшая величина по части соцопросов, знаток западной системы изучения общественного мнения. Но как раз по этой причине и мялись: хотелось чего-то своего, доморощенного, обжитого, привычного и... подконтрольного.

Об этих цековских сомневансах Борис узнал гораздо позже, а в 83-м, когда ему предложили возглавить рабочую группу, поверил сладким обещаниям, был на седьмом небе, дал волю мечтам. В тот вечер примчался домой с шампанским: «Сегодня праздник, будут танцы!» Человек эмоциональный, уповающий на удачу, классический «антимизантроп», он давно грезил службой опросов наподобие американского института Гэллапа, а потому отбросил научные дела, с головой нырнул в канцелярскую писанину, и уже через месяц проект решения был готов.

Однако понадобилось четыре года, чтобы у Секретариата ЦК, наконец, дошли до него руки.

Когда в перестройку по стране бродил призрак демократии, Грушин с весёлой присказкой «Порожняк не гоним! А если что – мы на конной тяге!» опять рванул на телевидение. На сей раз с идеей рубрики «Экран мнений». Пытался продвинуть и радиопередачу того же типа – увы, везде игнорили, всюду водили за нос, всё без толку! Отчаявшись, разочаровавшись, написал злую статью в «Советскую культуру» под заголовком «А.Б. В...», опубликованную 5 мая 1987 года. Но именно та статья, как смеялся потом Борис Андреевич, стала мышкой, которая выдернула репку.

Через неделю для обсуждения статьи Грушина пригласил секретарь ЦК КПСС Лукьянов, и «процесс пошёл» со скоростью литерного эшелона. Документы четырёхлетней давности, конституирующие ВЦИОМ, нуждались в минимальной правке. Оставалось решить главный для партийных бонз вопрос: под чьей «крышей» будет жить Центр изучения общественного мнения?

Вопрос был болезненным, и его предпочитали не касаться: только сейчас выяснилось, что долгая проволочка упиралась именно в проблему «крыши». Дело было в диковину, общественное мнение – штука слишком опасная, всякой всячины в ней столько, что ни приведи Господь. Ни-ни оставлять его вне контроля, уж где-где, а тут надо глядеть в оба – в этом отношении лидеры перестройки перестраиваться не собирались. Демократия – демократией, глас-

ность – извольте, свобода мнений – ради бога, плюрализм – ну конечно! Но кто будет командовать «вопросами опросов», а уж тем более результатами народного волеизъявления, – об этом, извините, мы позаботимся сами. Тут жёсть! Задумано потрясение основ, настало время идейных вызовов, и «крыша» ВЦИОМа должна быть не только абсолютно надёжной с точки зрения её контроля, но и без протечек в смысле утечки поправок, какие в случае надобности придётся вносить в публичные сводки. Лучше всего было бы, разумеется, напрямую замкнуть ВЦИОМ на Агитпроп, да как-то несподручно это для перестроечных нравов. А если вариант Академии Наук, о чём толкуют в социологических кругах? Пожалуй, нет, академической средой командовать непросто, высоколобые могут заартачиться. Нужен кто-то послушный, без путаницы в мыслях, беспрекословно, с намёка понимающий, что к чему. Одним словом, требуется какое-то подставное ведомство.

Искали долго, но всё же нашли – ВЦСПС! При чём тут безвольные в советскую пору и в перестройку профсоюзы? Выяснилось: как раз при том, что безвольные!

На эту тему Лукьянов и повёл разговор с Грушиным, который учтиво, в своей иносказательной, острословной манере посоветовал секретарю ЦК КПСС «не страдать ерундой»: профсоюзы ни малейшего отношения к изучению общественного мнения не имеют. Но оказалось, начальственная мысль вопрос о «крыше» уже решила, причём бесповоротно. И в сентябре Грушина позвали на совещание в ВЦСПС, где обсуждали «новую структуру». Борис Андреевич, самокритично называвший себя честным до глупости, и на сей раз не оплошал. Шутливо, но язвительно, а отчасти и кинжально, без наркоза иносказаний, с мудризмами из древнегреческого эпоса, который обожал, задорно и прозрачно намекнул профсоюзным лидерам – чиновники заядлые! – что надо бы им почитать кое-что касательно опросов общественного мнения.

Тем не менее в октябре цековский куратор из Агитпропа предложил Грушину срочно заняться составлением учредительных документов ВЦИОМ, на приподнятых эмоциях сопроводив поручение цитатой из Грибоедова:

– Вы, Борис Андреевич, у нас не нынче завтра генерал...

А в конце ноября, когда работа была закончена, тот же куратор с виноватым лицом кисло известил:

– Борис Андреевич, уважаемый... Я вынужден сообщить, что в ВЦСПС при решении вопроса о директоре ВЦИОМ ваша кандидатура рассматриваться не будет...

Магистры перестроечных интриг решали этот вопрос в извилистых цековских закоулках и тупичках. И результат вышел иным: Грушина забраковали. В декабре 1987 года вместо обещанной экономической перестройки в курьерском темпе громыхла политическая, пришли иные времена, взошли другие имена. И председатель ВЦСПС Шалаев пригласил к себе академика Заславскую, предложил ей перебраться из Новосибирска в Москву, чтобы возглавить ВЦИОМ.

Татьяна Ивановна согласилась с ходу, даже не взяв времени на обдумывание, но сопроводив своё «да» оговоркой о том, что у неё опыта такой работы нет, и хорошо бы уговорить ей в замы профессора Грушина, которого она считает «лучшим специалистом» в этой области.

С учётом того, что реальным идеологом и хозяином ВЦИОМ был Агитпроп, не так уж трудно сообразить, кто именно подсказал Шалаеву кандидатуру Заславской. Не случайно перестроечная пресса немедля возвела её в ранг «вдохновителя, основателя и организатора ВЦИОМ», хотя в одной из публикаций всё же проскочило, что «вместе с ней создавал ВЦИОМ и Борис Грушин».

Вместе с ней!

Татьяна Ивановна ни разу не подправила поток восхвалений. Своей славы ей было мало, она приватизировала и чужую. Кремень!

Но надо было знать Грушина! Он писал однажды, что воюет за создание службы изучения общественного мнения не из карьерных видов, – и в мыслях не держал! – а для того,

чтобы в СССР возникло гражданское общество. И, подобно знаменитому культурологу Альберту Швейцеру, лауреату Нобелевской премии, сделал свою жизнь своим аргументом. Хотя его вероломно и оскорбительно «кинули», он всё-таки пошёл первым замом к Заславской и с ураганной энергией умудрился за год учредить сеть социологических центров в союзных республиках, уже в 88-м приступив к массовым соцопросам.

Однако в 89-м ушёл от Заславской. Предпочёл стать вольным казаком, чтобы создать первую в стране частную социологическую службу «Vox Populi» – «Глас народа». Не умеющий унывать, шутил:

– Эпизоды великого фильма «Броненосец Потёмкин» снимали в бассейне Сандуновских бань. Не нужен размах мне советский, дайте право делать, что хочу.

И как раз в это время Егор Яковлев, не знавший о долгих «вциомных» страданиях, попросил Грушина публично поддержать Заславскую, которую коварно, антиперестроечно упрекнули в научном плагиате. Годы спустя, когда пыльная буря нелепостей, случайностей, совпадений, эмоций, обманов, предательств и бог знает чего ещё замела исторические следы СССР и улеглась, старые школьные друзья постфактум попытались разобраться в перестроечной истории с ВЦИОМ. И пришли к выводу, что эта частность, булабочная головка на фоне грандиозных событий, наизнанку вывернувших страну, была особо примечательной, рассекретила одно из ключевых таинств перестройки.

Ибо борьба за создание ВЦИОМ стала лишь внешним антуражем этой истории. А суть её раскрылась через двухлетний противоестественный мезальянс Заславской и Грушина, невольно заставляющий вспомнить Пушкина: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Оказалось, можно, хотя роль трепетной лани в данном случае исполняла не Татьяна Ивановна.

Досужие умы считают, что опросы общественного мнения понадобились лидерам перестройки, дабы сверять политику с запросами населения. Однако замысел «архитекторов» был иным: памятуя советский опыт цензуры и партийного диктата, в том числе богатейший личный опыт, – да-да, личный! – они изначально задумали использовать соцопросы втёмную, лукаво имитируя через них поддержку реформ. Десятилетиями они обличали мировое зло капитализма и, уподобляя итоги соцопросов статистике, помнили формулу Дизраэли: на белом свете есть ложь, наглая ложь и статистика. Никто на Старой площади и мысли не допускал, что ВЦИОМ получит право выдавать на гора данные, противоречащие идеям перестройки. Перед Центром негласно стояла иная задача: обосновать верность выбранного курса. Иного не дано!

Иначе говоря, от ВЦИОМ требовалась двойная лояльность: в опросах не должно быть «дурацких» вопросов, а для страховки лидеры перестройки бронировали за собой право «вето» на публикацию нежелательных результатов. Обе эти задачи успешно решались в том случае, если во главе ВЦИОМ будет стоять «вменяемый» человек, умеющий не выносить сор из избы. «Архитекторы» хорошо знали известное правило: итоги выборов зависят не от голосящих, а от тех, кто подсчитывает голоса. И прилагали эту аксиому к итогам соцопросов.

Грушин, человек прозападных убеждений, принявший философию потребления Бодрийяра, позволявший себе «осквернять советские иконы» – на радио «Свобода» вёл рубрику «Кафка Корчагин», – казалось, вполне годился на роль директора ВЦИОМ. Тем более в среде социологов считали, что в СССР служба изучения общественного мнения «вышла из грушинской шинели». К тому же Грушин был убеждён в особой исторической роли интеллектуальной элиты, которая способна указывать путь народам, а эта идея лежала в основе перестроечного замысла. Но слишком уж неуживчив, избыточно порядочен этот въедливый субъект. У него был не только абсолютный музыкальный слух – в детстве пиликал на скрипке, – но такой же слух на любую фальшь, чего бы она ни касалась. Он поклонялся американской службе Гэллапа, однако утверждал, что в русских контекстах копировать её нельзя. Вместе с Карякиным, Яковлевым и другими выходцами из пражского журнала он впитал в себя западные смыслы, но,

в отличие от них, наотрез отказался депутатить, избегая чистой политики. В слове «революция» он решительно отвергал первую букву и на деле доказывал свою приверженность плавным переменам, осуждая пыл и зуд закадычных друзей. Наконец, он никогда не сдавал своих. В 1969 году, когда с подачи яковлевского Агитпропа в Академии общественных наук при ЦК учинили разгром социологии, учредив партийный контроль над ней, Грушин был единственным, кто выступил в защиту гонимого в ту пору пражского сотоварища Левады.

Безусловно, Грушин, называющий перестройку социотрясением, не был вменяемым, он недостаточно гибок, вечно на своём стоит, а что у него на дальнем уме, не поймёшь. Для «под диктовку» непригоден, такое выдумает, что и подумать нельзя. Грушин не ко двору, его надо аккуратно вытеснить на задворки.

И совсем иное дело – академик Заславская. Женщина незаурядная, Татьяна Ивановна, по её словам, всегда искала более привлекательный жизненный путь, в связи с чем после третьего курса физмата МГУ вернулась на второй курс экономического факультета, чутко уловив перспективу. И если Грушин, начинавший с Института общественного мнения в «Комсомолке», хорошо чувствовал настроения народа, то Заславская, делавшая научную карьеру, умела отлично угадывать настроения власть предержащих. И выбрала идеальную позицию нулевого риска: причастная ко многим крупнейшим экономическим провалам, не была их инициатором, – она лишь научно обосновывала ошибочные решения, влиявшие на судьбы страны. Она всегда шла в ногу со временем, и в 88-м, когда авторитет КПСС пошатнулся, член партии Заславская «громко» крестилась в возрасте 60 лет, оповестив об этом общественность. Во множестве интервью – жанр, особо привечаемый Татьяной Ивановной, гением самопиара, – она в изысканной академической манере на пафосе откликалась на каждое перестроечное действие, давая резкую отповедь оппонентам всех мастей. У неё была своя шкала успеха, на которой академическое звание не выглядело высшей точкой – всю жизнь она шла в гору! Стала «кавалером» неисчислимого множества регалий и заняла самые престижные позиции, держа руку на пульсе советской социологии. Ходили разговоры, что Сокуров, снявший обольстительную короткометражку о философе Мамардашвили, «положил глаз» на лейб-гвардии академика Заславскую, которую посчитал маркером переломной эпохи. Высокого полёта птица! Научное светило с хорошим прошлым, без ретрозависимостей; плюс размах и деловитость. С таким багажом достоинств герметично притёртая к власти, покладистая Татьяна Ивановна была для архитекторов перестройки «Экс нострис» – из наших. С ней можно иметь дело, знает, с какой ноги танцевать, не даст маху.

И верховные опекуны не ошиблись: глава ВЦИОМ академик Заславская не нуждалась в подсказках и намёках. Какими не должны быть результаты опросов, она понимала лучше, чем сами «архитекторы». Вместо примитивной профанации под диктовку, на что они рассчитывали, Татьяна Ивановна в духе порочных замыслов перестроечной элиты предложила близнецовое сходство карякинскому варианту «Да сгинет истина!» – пушкинское «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». И едва Грушин, создав региональные центры, приступил к опросам, его изначальные тревоги с лихвой подтвердились: с директором ВЦИОМ они думали врозь, не нашли общего языка, идеи «Таганрогского проекта» Заславская отвергла, полагая, что надо действовать «с точностью до наоборот» – это любимое выражение Татьяны Ивановны отражало навыки её мышления.

Воистину, нет в мире ничего тайного, что не стало бы явным. В недолгом альянсе двух выдающихся учёных, словно в призме, преломилась порочная особенность тех смутных лет. На поверхности бурных событий, в шумном политическом гуляй-поле кипела драматическая борьба прозападных прорабов перестройки с силами торможения. И мало кто знал, что в стане западников, вдали от суетного мира, разыгрывалась своя драма: там шёл естественный отбор – «архитекторы» на всех фронтах идеологической схватки делали ставку не на честных и порядочных, а на гибких и политически безнравственных. Тех, кого ждут в восьмом круге ада.

Ну и результат вышел под стать.

16

Широкие цеховские коридоры в Первом подъезде Старой площади никогда не отличались ходынкой, славились тишиной. Почти неслышно в них иногда мелькали курьеры, разносившие по важным кабинетам секретные документы, – всегда женщины проверенного среднего возраста и всегда в обуви без каблуков. Громкая походка здесь была не принята, и только один человек позволял себе идти по коридору с грохотом. Когда из дальнего лифта – подъезд во дворе, куда заезжали машины секретарей ЦК – шёл в свой кабинет Александр Яковлев, он так мощно стучал по паркету ортопедическим каблуком хромой ноги, что его быстрый шаг слышал чуть ли не весь четвёртый этаж.

После отмены 6-й статьи Конституции о всевластии КПСС коридоры и вовсе затихли, «партийные» обитатели здешних кабинетов постепенно начали перебираться в Кремль, спланировавшись в президентскую рать.

Убавилось дел и у Кондрата Кедрова. Бывали случаи, когда он безучастно сидел за своим древним, удобным, намоленным письменным столом – не позволял заменить его при обновлениях офисной мебели, – и бессчётно, одним росчерком рисовал на листе бумаги нотный ключ: рука двигалась просто так, бессмысленно. А сам думал о жизни, которая – да, пошла на последний круг.

Партийные да и политические перипетии последних месяцев его интересовали не особо – смирился. Зато жизненные заботы тревожили душевными неудобствами. Он часто спрашивал себя, что ещё мог бы сделать для клана Кедровых, пока сидит в кабинете с вертушкой, перебирал различные варианты и, увы, приходил к нулевым выводам. Квартира для Вари стала последней добычей. И каждый раз, когда натёкался мыслью на этот чиновничий подвиг, непроизвольно морщился из-за того, что всё пошло не так, как задумано. Родился жданный внук, почти четыре килограмма, уже агукает, – казалось бы, пой-пляши. Но часто бывая на Люсиновской, Кондрат чувствовал, что оттуда ушла радость. Оттого и кручинился, что всё понимал. Варя молчунья, с характером, разве пожалеется? И расспрашивать, берeditь нельзя – надо ждать, чем закончатся похождения Дмитрия.

Но после одного из визитов на Люсиновскую, когда Варя на его осторожный вопрос о житье-бытье только плечами пожала, не выдержал, позвонил сыну:

– Вечером можешь заехать в Староконюшенный? Часов в семь?

Сын явился в половине восьмого, бодрый, подтянутый, с непривычно короткой стрижкой, глаза задорные. Принёс торт в цветастой коробке, попросил маму соорудить чай и, слегка улыбнувшись, начал сам:

– Ну что, отец, созрел для генерального разговора? Пошли...

Они закрылись в кабинете, и Кондрат, наверное, с минуту молча изучал взглядом сына, подмечая перемены в его облике, которые оценил как возросшую уверенность в себе. «Матерееет, настоящий мужик».

Сын спокойно выдержал взгляд. Сидя в кресле, ожидая вопроса, положил ногу на ногу. А какие вопросы, если он всё понял? Кондрат не стал рассусоливать, сказал коротко:

– Ну? Я слушаю.

Дмитрий тоже молчал примерно с полминуты. Потом сильно оттолкнулся руками от подлокотников, пружинисто поднялся с кресла, принялся вышагивать по кабинету. Чувствовалось, он готов к разговору, но, видимо, ещё раз проверяет себя. Начал отрывисто:

– Отец, давай напрямую... – Умолк. – Да, напрямую. Решение принято. Жду, когда Никитка начнёт ходить. Варя предполагает, но не более. Мне почти сорок, отец. На ногах стою прочно, с хлеба на квас не перебиваюсь. Имею право выбрать свою судьбу. Всё будет достойно.

Безмерно тебе благодарен, что позаботился о квартире для Вари. Но в эту квартиру въеду я... Вопросы есть?

Честно говоря, Кондрат ждал чего-то в этом духе, хотя не предполагал столь жёсткого тона. Отцовский замысел был иным, он хотел слегка прощупать «фактуру», по возможности выяснить, глубоко ли увяз сын, на кого он запал. В голове старого кадровика автоматически стучали вопросы: возраст, профессия, национальность, трудовой статус. А в сознании невольно являлся образ привлекательной... нет, скорее обольстительной фифочки с боевой раскраской, каких он вдоволь навидался на больших форумах. Одна из них почему-то запомнилась особенно – большие дымчатые очки в пол-лица, элегантная дамская сумочка через плечо. Выдержав паузу, спросил с подтекстом:

– Та-ак... Значит, с жильём будет непросто? Начнёшь с нуля?

Дмитрий поймал вопрос на лету:

– Отец, я же тебя знаю. Не допытывайся. Отвечу на твои вопросы в двух словах. Она замужем. Муж – членкор Академии наук. Ребёнку три года. Всё понял?

На сей раз Кондрат действительно понял всё. Не изменившись в лице, сохраняя внешнюю невозмутимость, он пал духом, осознав, что решение сына бесповоротное, это не похождения. Оставалось лишь интересоваться деталями.

– Профессия?

Дмитрий снова угадал:

– Ты в своём репертуаре. Одно слово, кадровик!.. Давай серьёзно. Я ждал этого разговора, потому что очень на тебя надеюсь. Ты глава семейного клана, наша мачтовая опора, от того, как воспримешь перемены, зависит многое. Прежде всего – как они Варю аукнутся. Думаешь, у меня душа не болит? Но иначе не могу, понимаешь, отец, не могу! Говорю же, мне почти сорок, давно не мальчик. Уля тоже начинает с нуля, расстанется с обеспеченной жизнью.

– Уля?

– Ульяна... Поздно мы с ней встретились, но навёрстывать в четыре руки будем. Отец, меня сейчас больше Варя беспокоит, она, конечно, что-то чувствует. Говорю же, я ждал встречи с тобой. На тебя надеюсь, ты у нас самый мудрый. Ты должен Варю подготовить... – Подошёл сзади, приобнял за плечи. – На тебя вся надежда. Меня ты теперь понял, не мог не понять. Вот и вырчай. Времени мало, как только Никитка вылезет из колыбели...

Для Кондрата это был тяжёлый разговор, и он счёл нужным закруглиться. Хотя и не без назиданий:

– Ты вот что... Если плюёшь в прошлое, силу встречного ветра всё-таки учитывай... Ладно, зачехлим тему. Пойдём чаёвничать. Маме ни звука.

Кондрату Кедрову семейные проблемы были в новинку – только сейчас, на склоне лет, он осознал мудрость народного присловья «В каждой семье своя гарь». Несколько дней мучился, то ли поговорить с Варей, – о чём? – то ли выжидательно помалкивать. Потом позвонил Мартыну:

– В субботу возьмём Прагу? Часа в три...

В последнее время они встречались часто, примерно раз в два месяца, – есть что обсудить. Их понимание драматических событий, накативших на страну, было полным, и они просто обогащали друг друга мнениями, мыслями и фактами, облегчая душу. Но на сей раз Кондрат хотел и совета испросить.

Впрочем, устроившись в уютном, небольшом «Московском» зале и по-солдатски попросив для разогреву принести «по маленькой», они сразу принялись за свежую горячую тему: новым министром МВД назначили Пуго!

Глеб взял с места круто, ругнулся:

– Что у вас там творится, мать вашу?

– А ты что, не понимаешь?

Конечно, Мартын всё понимал. Далёкий от партийных дел, он по своему элитарному статусу хорошо разбирался в высоких кадровых назначениях. На то, кто стал министром МВД, ему плевать. Пуго, Пуго – вот в чём загвоздка! Впервые председателя Центральной Контрольной Комиссии избрал партийный съезд, и это означало, что он теперь не зависит ни от Политбюро, ни от Генсека. Потому съезд и дал ему поручение расследовать выкрутасы партийной верхушки. К Пуго потоком пошли материалы на Яковлева, Шеварднадзе да и на самого Горбачёва. И что Генсек, будь он не ладен? Не имея на то уставного права, игнорируя волю съезда, нагло пересадил Пуго в кресло министра. С Пленумом ЦК не посоветовался, даже членов ЦКК не поставил в известность. Обезглавил Контроль, и дело с концом, вернее, концы в воду... Тигр прыгнул.

– Но Пуго тоже хорош. Чего согласился? Мог бы собрать Пленум ЦКК, – возмущался Глеб.

– Э-эх, дорогой мой, – тяжело вздохнул Кондрат. – Ты и впрямь не понимаешь, что у нас происходит. Сейчас ЦК это клубок раздоров. Секретариат уже не заседает, Горбачёв с Яковлевым – люди славные, орудуют разбойно, пресса – в опричниках, газетчикам только лисьей шапки не хватает. Официальной тарабарщины больше, чем раньше, пафосной ложью мозги изнасиловали. Перепутье времён! Разве позволяют сейчас созвать Пленум Контрольной Комиссии? Это разговоры на ветер... Да и в стране, сам знаешь, беззаконие, банановая республика. Наша большая эпоха уходит. Чую, Глеб, подлые настают дни, мутные. Загрязнение умов тотальное. Последние времена. Душно!

– Во-первых, помни нашу заповедь: при последних временах держим ноги в стремях. А во-вторых, у тебя сегодня обилие светлых мыслей. Я так понимаю, что ты сдался? Будешь красить лавочки на бульваре? Или пойдёшь суточным сторожем?

– Да, Глеб, сдался. Чего мне перед тобой хорохориться? Придворных приключений я всегда был чужд, ты это знаешь. А теперь и не воитель, уже на обочине, духом в борьбе не окрепну. Огонь на себя вызывать не готов, шаг уже не держу, ибо знаю, к чему дело клонится. Аллес капут, кругом свинцовые мерзости. Такое сейчас расскажу, что вот этой селёдкой подавишься. – Отложил в сторону приборы, подпёр руками подбородок. – Помнишь, на партконференции Горбачёву велели с первого января 89-го поднять зарплаты партаппарату. Цены шли в рост, в то время всем оклады поднимали. А пятнистый – милое дело! – ждал девять месяцев. Девять месяцев!

– Пятнистый! Ты его уже не щадишь.

– Я Горбачёву не враждебен только по бессилию. Чего яриться, если нигде никак слова супротив сказать не могу? А играть в карты с шулерами я не сажусь. И нагишом в крапиву никогда не прыгал... Ну, слушай. Дождался он, когда партию начали травить, и решил вопрос за пятнадцать минут. Когда замначфина мне про это сказывал, руки у него от зла тряслись, губы дрожали, заикался, бледнел-краснел. В пятницу, по окончании рабочего дня, вдруг дёрнул его сам Горбачёв – такого не бывало, чтоб замзава напрямую звал Генсек. Заходит, а у него Костяная нога, Яковлев. Ну, в два голоса и продиктовали ему, чтоб к понедельнику, когда Пленум, был проект решения ЦК о повышении партийных зарплат. Горбачёв партию подставил, а Яковлев сподобил жуткий скандал в прессе: люди с голода мрут, а у секретарей райкомов зарплаты растут! Всё ясно, как божий день, Глеб! Горе побеждённым. Чума партийной склоки, она скоротечна. Чего теперь стесняться? У меня вообще есть особые соображения по части этих притворщиков, шли бы они... в Японию, прямо, вторая дверь направо. Страха божьего не ведают, псы смердячие.

– Выпьём? – поднял рюмку Мартын. – Для организма, да ещё стрезва, такое великомыслие слушать вредно, тянет гульнуть на все. Година мрака и печали... Кстати, сейчас первые осенины, Яблочный спас позади. У меня знаешь какое детское воспоминание? Снегопад белого налива! Так и стоит в глазах... Да и Успение на носу. Отметим?

Кондрат словно не слышал. Опрокинул напёрсток, продолжил:

– Я тебе больше скажу. Общий отдел такое антраша исполнил, что гром аплодисментов. На подпись членам ПБ пустил решение скользящим способом, по столу президиума, без обсуждения. Лигачёв подписывать отказался, понимал, что будет великий скандал. И что? В перерыве Горбачёв – это мне сам Егор говорил – подсел к нему со стаканом чаю, в комнате президиума, ну и нажал. А Кузьмич-то, он того... податлив, когда жмут, чего греха таить. Не по Хуану сомбреро. От всей этой дури гадкие мысли в голову лезут. На днях «Майн кампф» полистал, мало ли какие случайные переключки.

– Настольная книга? Где купил?

– Сталин с фюрера глаз не спускал, изучал внимательно. Перед войной сделали перевод и выпустили с предисловием Молотова для ДСП. У нас подзамочно, в спецхране есть, я и глянул.

– И что?

– Пока, слава богу, ничего.

Занялись «столичным» салатом, и Кондрат сменил тему.

– У меня дома нелады, у Дмитрия сын ещё в колыбели, а он, похоже, задумал разводиться. Уже не таится, мне напрямую высказал. Оказывается, случай запущенный, хворь неотвязная, видимо, его крепко эта женщина прихватила. Я думал, у него кризис среднего возраста, бунт естества, вот какая-то молодайка, блудница вавилонская, и подцепила. Но, говорит, она замужем, и муж – из солидных, вроде членкор.

Мартын перестал жевать, поднял голову, вскинул на Кондрата глаза.

– А звать как?

– Да какая мне разница!.. Имя редкое, Ульяна.

Глеб неторопливо вытер салфеткой губы, протёр пальцы, слегка отодвинул тарелку в сторону, в упор посмотрел на Кондрата.

– Что ж, сделаю тебе весело. Игра случая: я её знаю.

Кедров чуть вилку не проглотил, но, психологически мощный, удивлённого вопроса не задал, продолжал невозмутимо жевать. Только через полминуты речисто сказал:

– Ну-ка...

– Её муж у нас зам по науке, мужик нормальный. Она – женщина непростая, на мой взгляд, с глубиной. Журналист, но сейчас не работает, сидит с ребёнком. – Усмехнулся. – Из колыбели ребёнок уже вылез, сыну три годика. Ну, что ещё?.. Породистая, себе цену знает. У твоего Дмитрия губа не дура. – Помолчали, и Глеб продолжил. – Они ко мне на Клязьму приезжали, она в шутку жаловалась, что муж ей мало внимания уделяет. Выходит, шутка была не шуточная.

Снова долго молчали. Говорить было не о чем, всё ясно. Одно слово – жизнь. Наконец заговорил Мартын:

– Моя Галя к Новому году вернётся из Пекина, Вадима отзывают, пять лет в посольстве отбарабанил. Квартира у них двухкомнатная, а дети разнополые. Вот и думаю, не запустить ли их в наши хоромы. Нам с Наташей и двушки хватит.

– Из первых уст про Тяньаньмень узнаем.

– Миль пардон, боярин. У тебя только политика на уме, а мне голову ломать, куда дочь пристроить. Китайский она знает плохо, по этой линии непустишь. В посольской школе географию преподавала, а по образованию геолог, пока замуж не вышла, романтикой жила, но сейчас-то не до экспедиций. Куда её сунуть, чтобы хунбао было?

– Хунбао?

– Это я образно. У китайцев хунбао – это красные конверты с премией.

«Шёл за шерстью, а вернулся стриженным, – злился на себя Кондрат. – Хотел душу излить, а получил удар в челюсть». Нет, вовсе не до политики ему было, сказанул про Тяньаньмень лишь для того, чтобы заткнуть дыру в разговоре. На деле-то думал теперь о другом. Какие

у Глеба проблемы? Поселить дочь с внуками в своей квартире, только и всего. Чего тут кручиниться? У моего сына семейный разлад – вот настоящая беда. Что будет с внуками? Безотцовщина? Прикинул свой возраст – сколько ещё до пристанища, на сколько лет деда хватит? Не в смысле матчасти, на этот счёт сын позаботится, а по части мужицкой... Когда подрастал Димка, Кондрату некогда было с ним возиться, и он считал, что не довёл парня до тех кондиций, о каких мечтал. Теперь возлагал надежды на внука, которого с колыбели взял под плотную опеку, – не позволял Варе откликаться на любой плач – незачем потакать, да и баюкать на ночь не велел, пусть сам затихает. О внучке он в этих смыслах не рассуждал, потому что не было у него соображений, как надо растить девчонку. Внука ждал. Восполняя упущенные в жизненной кутерьме родительские радости, Кондрат мечтательно думал о душевных восторгах дедовства, о том, что будет пестовать парня по старой боевой присказке «Мало штыка – дадим приклада». Чтобы рос настоящим русским мужиком. Но что теперь?.. И как быть с Варей? Как подступиться к ней с нервным разговором?

Дообедали скучно, пить было больше не о чем. И Кондрат поплёлся домой, благо «Прага» близко от Староконюшенного.

На Старом Арбате творилось чёрт знает что. Пляски в ритме эпилепсии, блатные песни, грохот барабанов, джаз-бандов, карандашные рисовальщики-моменталисты, прилипчивые гадалки, прыщавая школота, нимфетки, девки срамного вида, пугала огородные в не пойми каких одеждах – пустые никчемности, жаждущие быть приметными. Здесь же субтильная особа, похоже, божевольная, потёртая жизнью, выцветшая, обращающая на себя внимание светло-голубым платьем со стеклярусом. Кто-то торгует с рук слепым контрабандным сигаретным товаром. Филиал преисподней! Ещё вчера всё это было немыслимым, а сегодня вдруг по чьему-то дьявольскому заказу стало «гвоздём» демократической программы. Кедров шёл через это сборище городских сумасшедших, эту пучину вульгарщины и нецензурщины, через угарные толпы ряженных, в безрадостном, натужном, греховном веселье творящих непотребство, и понимал, что это кривозеркалье, эта гулящая нечисть, эти худшие из худших – продукт перестроечного гниения, что порвалась связь времён. И хоть тресни, не мог собраться мыслями, в голове плыло, чувство растерянности терзало мучительно. Тяжёлые тучи зашли ponad Русью, страна погружалась в сумрак. Нет, не о таких своих прощальных днях он мечтал.

Ему под семьдесят. Герой фронта, он ещё в студенчестве, в сталинские времена понял, что военная храбрость не равнозначна гражданской смелости. Когда за пьянку в день похорон Сталина его вышибли из Спорткомитета, он растерялся вот так же, до потери соображения. Как раз в ту пору встретил Зину – познакомились на танцах под оркестр в «раковине» парка Горького, – загорелся женитьбой, а тут всё рушится. Стреляться не собирался, однако эта шальная дурость в башке всё-таки мелькнула. Но в ту пору фронтовики держались кучно, и те, кто постарше, кто до войны нюхнул порошу тридцать седьмого года, дали совет: чтобы обрести спокойствие, надо напрочь выкинуть из башки тяжёлую думу. Легко сказать! Но как? Пить беспробудно? Нет, дурман не поможет, после опохмела всё пойдёт заново. Надо мозги переключить на что-то совсем-совсем иное. Важное, очень важное! Чтобы душевно увлечься другой мыслью.

По зову памяти Кондрат словно дверь в прошлое распахнул, вспомнил разговор с Портнягиным, которого в роте звали Васильичем. Мобилизованный, когда ему было за сорок, успевший до войны построить канал Москва – Волга – не зеком, вольнонаёмным, командовал сварочным цехом на дмитровском мехзаводе, – Портнягин только в памятную послесталинскую встречу за рюмкой водки рассказал о прошлых страхах, по его словам, хуже фронтовых. Когда вода впервые вошла в канал, с Волги в Москву, на торжественное заседание в Большом театре поплыл праздничный пароход с командным составом стройки. На каждом шлюзе грохотала медь духовых оркестров, плясали танцевальные ансамбли, народные хоры задиристо пели весёлые частушки. В ответ с палубы – парадные речи, славилы. Но на стоянках незаметно подни-

мались по трапу молчаливые неприметные люди, и каждый раз уводили с собой кого-то из пассажиров, да не по одному. И все понимали, кто их приголубил.

– То ещё было плавание, – кривился после рюмки Василийч. – До Большого театра не все доплыли, а уж из головки энкавэдэшной – никто. Потом сказали, что враги народа, всех расстреляли. Представь, чего мы натерпелись? А на пароходе надо было ещё и «Ура!» кричать, праздник! От того страху я никак отойти не мог, много чего мерещилось. А потом плюнул и стал всей душой радоваться. Москву сделали портом пяти морей! Канал четыре года строили; хотя зэки, но героизма трудового хоть отбавляй – сколько раз дамбы паводком прорывало, и проравы чуть не телами своими люди затыкали. Мы на заводе первый в стране самосвал соорудили. Я, Кондрат, по сей день горжусь.

И выходило, по Василичу, что гордость за дело рук своих помогла ему в горькие дни отодвинуть страхи. А там и перемоглось.

Медленно ступая по мелкой плитке шумного неопрятного Арбата, Кедров раза два перебрав в памяти тот разговор с Василичем и «модернизировал» давний совет: надо бы не мозги сушить, измудряясь, как переговорить с Варей душа в душу, а отойти от домашних передряг, предоставив семейным событиям идти своим чередом. Были бы все живы-здоровы, и пусть случится то, чему суждено. Литургии в церквах Кедровы не посещали – Зина на Пасху за живой водой, конечно, в храм заглядывала, – но Кондрат верил, что Господь суеты не любит, без божьего умысла ничего в жизнях не случается. В каждом повороте судьбы заложен смысл, который раскрывается лишь со временем, а вернее сказать, вовремя, в нужный час.

17

Испокон веку водились на Руси люди, которых считали странными. Одиночки, строем мыслей выпадавшие из общего течения жизни. Немало было среди них великих первоумцев, искавших новые смыслы земного и вселенского бытия. Однако чаще всего странные люди отличались от соседей по жизни таким складом ума, в котором желание и умение думать преобладало над повседневными суетными хлопотами-заботами. «Со странностями» – говорили о таких, а по-житейски совсем уж просто – тяпа-растяпа, чего с него взять?

И судьбы странных людей порой складывались странно.

Жизнь Алексея Семёновича Журбы, насколько он помнил, начала странно прихрамывать ещё в 1948 году, когда его записали в первый класс малаховской средней школы, которую в округе называли гимназией – в память о царских временах. Лёша знал, что его папа пал смертью храбрых на войне, но оказалось, отец не успел погибнуть на фронте, сгинув где-то на Севере. Мама рассказала об этом за неделю до начала занятий, когда нарядно одела его в новую фланелевую рубашку и впервые повезла в Москву, чтобы положить садовые анютины глазки к родственной могиле на Ваганьковском кладбище.

По узким тенистым аллеям они долго петляли среди старинных надгробий, пока мама не сказала: «Вот мы и пришли. Поклонимся, Лёша, нашим предкам». Повзрослев, Алексей узнал, что в кладбищенской конторе маме не удалось доказать родственную причастность к этому захоронению, потому что документы на него сгинули в революционном угаре семнадцатого года. Однако же бесхозный, обвитый плющом времени обелиск кладбищенские взяточдралы не снесли и даже слегка за ним ухаживали «за счёт заведения». Спустя много лет, когда настала перестроечная барышная лихорадка и на Ваганькове втридорога торговали любым бесхозным клочком земли, даже безудержная страсть к наживе не смогла повалить старое надгробие – по семейному завету Журба иногда навещал Ваганьково, убеждаясь, что памятник в порядке. Наверное, по срокам давности эта сиротская могила получила охранный статус.

Надгробие не было шикарным. Глыба серого, не тёсанного с трёх сторон гранита, камень-дикарь с выбитым на передней стороне большим крестом и витиеватым узором, обрамлявшим длинную эпитафию, тоже выбитую в камне и оттого вечную – глубоко пахал резчик, буквы почти не тронуло время. Правда, обелиск был высоким, выделяясь среди соседних захоронений, и его литая чугунная ограда из переплетённых завитков тоже обращала на себя внимание.

На фронтоне было написано:

«Раб Божий Ферапонт Кирьянович Меланин, крестьянин Тверской губернии. В 1886 году поселился в Москве, основал изготовление и торговлю древесной шерстью. Жил честно и достойно. Крестился, постился, Богу молился и людям помогал. Мир праху его. Мы в гостях, а он уже дома».

Мама, завершив чтение эпитафии вслух, погладила сына по голове и со вздохом облегчения сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.